

024
В. Ильянков

И. 45

Р. 34826

НА ТОТ БЕРЕГ

Рассказы

Советский писатель

19/45



В. ИЛЬЕНКОВ

НА ТОТ БЕРЕГ

РАССКАЗЫ

1945

Советский писатель

Ж Е Н Щ И Н А

За железнодорожным переездом дорога идёт в гору, к деревне Аникеево. Дорога покрыта настилом из уложенных поперёк тонких брёвён,—деревянная фронтальная дорога, по которой день и ночь ползут автомашины. Воя и дымя, они карабкаются по настилу на гору; брёвна, как клавиши рояля, западают, потом подсакивают, издавая глухой стук и жалобно всхлипывая,—это звучит жидкая глина, вылетая из-под колёс жёлтыми фонтанчиками. Глиной обрызганы кусты репейника по обочинам дороги, отяжелевшие от множества пунцовых цветов.

Лениво покачиваются жирные широкие листья репейника, похожие на уши слона. Пунцовые цветы его горят по склону глинистого обрыва, висящего над дорогой, а над обрывом стоит девочка лет десяти — двенадцати и держит за руку мальчика. Щёки у него пухло-водянистые, бледные и в тёмных потёках слёз. Он смотрит исподлобья на проходящие машины.

— А вон машины иду-ут,—нараспев говорит девочка, как говорят с детьми старые няньки.— Все иду-ут... иду-ут на войну.. А там папка-а наш... Он скоро приедет, гостинчика привезё-от... Конфетку привезё-от Стёпушке...

— Хлебушка дай! Хлебушка-а! — вдруг взвизгивает Стёпушка, заливаясь слезами. Он трясёт руку девочки, трясёт требовательно, настойчиво, озлобляясь: — Да-ай!

— А вот одна машина застря-ала... Ишь как воеет: у-у-у... А дыму-то, дыму! — не обращая внимания на плач ребёнка, продолжает девочка тем же ровным, напевным голосом.

У неё острый носик, заострённый подбородок, и уголком надвинут на лоб выцветший ситцевый платок, завязанный концами на тоненькой шее. И всё прозрачно, как стекло: и блёклоголубые глаза, и кожа на впалых щеках, и тонкие ноздри. Это лицо женщины, у которой большая семья и мало хлеба, которая давно свыклась с детским надсадным плачем, отупела от него. И она бесстрастным голосом тянет:

— А вон лоша-адка пошла-а... Траву щиплет... Хвостиком маха-ает...

Стёпушка сквозь слёзы смотрит на осёдланную лошадь, пасущуюся за дорогой. Пофыркивая, лошадь жадно рвёт траву, отмахиваясь хвостом от оводов. Лошадь ест, и Стёпушка снова раздражается плачем.

— Да-ай! Хлебушка-а...

Девочка замечает на обрыве цветы репейника, горящие на солнце, как огоньки. Убога красота сорной травы, но нет иной красоты на глинистых обрывах деревни Аникеево, на пустырях, заросших сорняками, на огородах, где растёт лишь бурьян да лебеда.

— А вон цветики кра-асные... Видишь: как уголёчки светятся... А листья широ-окие, разлопушились. Нарву я Стёпушке цветиков... «Собачек» нарву зелёных, и будем мы, Стёпушка, играть, «собачек» гонять.

Девочка спускается с обрыва, придерживая за

руку своего Стёпушку. Они почти скрываются в зарослях репейников, только головы их видны среди широких листьев — платочек, повязанный уголком, и белые, выгоревшие волосы мальчонки, и две эти головки торчат из репейника, как безрадостные, придорожные цветы.

Внизу на дороге фырчит, воеет застрявший грузовик, и пар бьёт из радиатора, как из самовара. Два шофёра в замасленных гимнастёрках, от натуги потные, пытаются сдвинуть машину с места, но колесо сползло с наката, врезалось в глину и крутится вхолостую, обдавая людей брызгами жидкой глины.

— Вода вся выкипела, выключай мотор, — говорит шофёр с чёрными густыми усами другому — маленькому, краснощёкому юноше.

Юноша выключает мотор и, вытирая с лица грязь, осматривается. Он видит привычную картину запустения вдоль фронтовых дорог: вместо деревень — пустыри, заросшие сорняками, нет даже колодцев. А в радиатор нужно налить воды.

Вдруг он замечает среди тёмнозелёных листьев и пуццовых цветов две детские головёнки.

— Эй, ребятишки! Где у вас тут колодец?

Девочка приближается, ведя за руку Стёпушку.

— Тебя как кличут, дочка? — улыбаясь, спрашивает юноша.

— Татьяна Губина, — отвечает девочка серьёзно, не отзываясь на улыбку, и, вглядываясь в её застывшее лицо, юноша перестаёт улыбаться.

Его товарищ задумчиво смотрит на детей, особенно пристально на Стёпушку, и вдруг спрашивает его:

— Есть хочешь?

Стёпушка молчит, но в глазах его возгорается такой огонь ненстового желания, что усатый быстро стаскивает с машины мешок и развязывает

его. Стёпушка не спускает с мешка своего взгляда, его губы судорожно движутся, высовывается кончик языка. Но лицо Татьяны остаётся попрежнему застывшим, бесстрастным — ни радости, ни удивления, словно она знала, что рано или поздно их накормят проезжие.

— Стёпушка, скажи спасибо,— говорит она, но Стёпушка уже набил рот хлебом и пыхтит, не обращая внимания на неё.

— А где мать? — спрашивает усатый, не отрывая взгляда от Стёпушки.

— Померла. Она тифом при немцах хворала. А померла позавчера,— в голосе девочки ни печали, ни боли.— Военная докторша была, говорила: «У твоей мамки сердце оборвалось»...

— А как же вы-то живёте?

— Так и живём. В землянке возле колодца. Только ту воду пить нельзя, говорила военная докторша. Мы в ручей ходим, за деревню. И бельё там стираю. Вода там хорошая, вкусная, а колодец немцы испоганили.

— Ну, для радиатора и такая сойдёт,— сказал юноша, доставая ведро из кузова.— Пойдём, Татьяна.

— А Стёпушка-то пускай со мной побудет,— проговорил усатый, лаская мальчика.

— Только не балуй тут,— строго сказала Татьяна, вытирая ладонью лицо Стёпушки.

Она ушла с юношей по тропинке, а усатый взял на руки Стёпушку, усадил его на грузовик и сам забрался туда.

— Ну, Степан, рассказывай, брат, как тут жизнь? Стало быть, померла твоя мамка? Тебе жалко мамку? А?

Стёпушка проглотил хлеб и быстро зашептал:

— Кричала она, а Таня ей воды дала... Она попила и заснула... Я с мамкой спал. Я проснулся, а она всё спит и спит. Я будил её, а юна мол-

чит, а Таня заревела... Мне плакать не даёт, а сама заревела... Мамку закопали в ямку, и мне докторша дала конфетку. Красенькая такая, сладкая-сладкая...

— Плохи, брат, дела твои, Степан, без мамки,— задумчиво промолвил усатый.—И сестрёнка твоя ещё недоросточек.

— Докторша ей молоточком стучала. Чёрненький такой молоточек. И совсем не больно... Докторша говорила: «Дыши, Таня, дыши», а я смеялся,— Стёпушка улыбнулся:— Она Таню стучает, сама головой качает, и Тане сказала: «Женщина ты»... Это старые бывают женщины, как мамка...

Усатый слушал лепет мальчика и думал о чём-то, покручивая чёрный ус, нахмутив брови.

— Как же вы так жить будете? — спросил он.

— Докторша сказала: машина придёт, я с Таней поеду далёко-далёко. Нас повезут в большой-большой дом, и мы будем обедать, каждый день... И конфетку дадут сладкую-сладкую,— Стёпушка даже зазмурился от удовольствия.

Юноша возвратился с Таней, неся ведро воды.

— Ну, Кокорев, наглядел я там местечко хорошее, у ручья. Заправим машину, вытащим и туда свернём. Каши сварим. Есть хочется да и ребятишек покормим.

Через полчаса машина тронулась с места, взобралась на гору. Дети сидели в кузове, и Таня указывала, как лучше проехать к ручью. Он извивался в низинке среди белых песчаных берегов, поросших ивняком.

Юноша развёл костёр, повесил над ним котелок с водой.

— Хорошее место,— сказал он, вытирая лоб грязным платком.

— Дай-ка я постираю платочек,— предложила Таня.

Усатый дал ей кусочек мыла и свой платок. Таня присела на корточки к воде и деловито принялась за стирку.

— Отчего же сердце оборвалось у твоей мамки? — спросил усатый.

— От немцев намучилась она. Они такие охальники, покою от них не видали... Пьяные придут, давай приставать к мамке. «Ложись!» — кричат и на постель показывают, а сами регочут... Мамка отбивается, кричит, да разве с ними справишься... Рыжие, здоровенные...

— А вы... как же вы-то? — вздрогнув, спросил юноша.

— А мы что ж? Выйдем со Стёпушкой на огород и сидим дотемна... Немцы уйдут, и мы домой. А то раз ночью заявились, и опять за своё... Мы со Стёпушкой на печке лежали... Тогда наша изба ещё не сгорела. А как сожгли немцы избу, то в землянке жили...

Юноша смотрел на Таню, и губы его мелко дрожали, а в глазах стоял ужас. Было страшно и то, что услышал он, и то, что об этом рассказывала девочка, было страшно слышать самый бесстрастный голос её. Он потрясал юношу сильнее, чем взрывы снарядов, к которым он уже привык за год войны, страшней, чем груды мёртвых тел, по которым проезжала его машина, гружённая снарядами.

Усатый сидел неподвижно у костра, обхватив руками колени, и по напряжению побелевших пальцев было видно, что он сжимает их всё сильнее и сильнее, словно поймал что-то, сдавил и не выпускает, всё давит и давит до боли и хруста в толстых, замасленных пальцах.

Таня выстирала платки и развесила их на ивовом кустике, потом подвела к ручью Стёпушку, умыла его лицо и руки. Вода в котелке вскипела и выплёскивалась на огонь. Шипение костра пробу-

дило усатого от оцепенения. Он насыпал в котелок крупы, соли, открыл коробку с консервированной рыбой, нарезал хлеб.

— Ешьте, ребята, пока каша сварится,— сказал он.— Садись, Николай.

Но юноша не двинулся с места, он стоял и в тревожном смятении смотрел на девочку с бескровным, прозрачным лицом. Таня сидела у костра, подпирая правой рукой острый подбородок, утвердив локоть на левой руке, охватившей грудь; и эта поза, заимствованная у деревенских старух, и строгие глаза её, устремлённые на Стёпушку, и платок, повязанный уголком, спущенный на лоб,— всё было преждевременно взросло в облике этой маленькой женщины, видевшей то страшное, что оставляет в душе человека на всю жизнь незаживающую рану.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА

Немцы вошли в город под вечер. Марья Петровна, услышав выстрелы и чужие голоса, поспешно закрыла дверь на задвижку и на цепочку, как это делала она всегда на ночь, опасаясь воров. Белый с жёлтыми заплатками Флокс возбуждённо лаял и метался по комнате, и Марья Петровна втокнула его в тёмный чуланчик к дочери Рите.

Ещё накануне, продумывая план обороны своего маленького мирка, Марья Петровна решила, что лучше всего поместить Риту в тёмный чуланчик и заставить дверь платяным шкафом. Но шкаф она не смогла передвинуть своими силами,— пришлось обратиться за помощью к старику-квартиранту Владимиру Ивановичу. Вдвоём кое-как они передвинули шкаф, и Марья Петровна облегчённо вздохнула, а старик, скорбно улыбнувшись, махнул рукой.

И в этом жесте была такая безнадежность, что Марья Петровна вдруг почувствовала внезапную слабость во всем теле и бессильно опустилась на стул.

Так просидела она всю ночь, не сомкнув глаз, прислушиваясь к шуму и крикам на улице и замирая каждый раз, когда голоса приближались к домику. Немцы могут найти в редакции списки сотрудников с адресами, и тогда придут за машинисткой Ритой. Марья Петровна скажет, что Рита уехала вместе с редакцией.

Медленный осенний рассвет проступил в окнах. На противоположной стороне улицы угрюмо темнел домик сестры Натальи. Счастливая! Она во-время уехала, бросив и домик, и большой сад. Марья Петровна вспомнила, что нужно пойти за водой. Взяла железное ведро и вышла на крыльцо.

На ступеньках сидел человек, низко опустив голову, в белокурых волосах его торчали соломинки, а гимнастёрка на правом плече была разорвана, окровавлена, и среди тёмнокрасных лохмотьев торчало что-то белое. Марья Петровна догадалась, что это один из тех, кто не успел уйти, защищая город до последнего патрона.

Каждую минуту на улице могли появиться немцы. Они увидят раненого на крыльце и тогда начнут допрашивать: что это за человек и почему он сидит здесь. Они обыщут дом и найдут Риту... И Марья Петровна, удивляясь своей жестокости, сказала:

— Ради бога уходите отсюда... Уходите поскорей!

Раненый не поднял головы, не шевельнулся.

— Я не могу дальше идти,— произнёс он тихим, безучастным голосом.

«Что же это... Куда же я его гоню? — покаянно подумала Марья Петровна.— Его надо перевязать...

Спрятать куда-нибудь...» Она растерянно оглянулась, в глаза бросился угрюмый домик Натальи со слепыми, забитыми фанерой окнами.

— Вставайте, пойдёте туда... через дорогу,— торопливо сказала Марья Петровна, поднимая раненого.

Он обнял её за шею, приподнялся и, наваливаясь всем тяжёлым от слабости телом, пошёл, едва передвигая ноги.

Марья Петровна разостлала на досках кровати свой старенький полушубок, уложила раненого.

— Доктора бы надо тебе,— вслух подумала она,— но все врачи покинули город, остался лишь фельдшер Фомич, пьяница и грубиян.

Не зная, как же помочь раненому, Марья Петровна расспрашивала его: откуда он, как зовут, как остался в городе. Раненый отвечал отрывисто, западающим от слабости голосом.

Звали его Василием, а на фронт он приехал из Башкирии, где осталась мать и две маленькие сестрёнки. Ранили его ещё вчера, и он всю ночь пролежал в огороде, среди гряд.

— Ключицу мне перешибло и лёгкие порвало...

Марья Петровна только теперь увидела среди окровавленных лохмотьев белую, живую человеческую кость. Она побежала домой, достала из комода чистую простыню, разорвала её на полосы, захватила пару белья покойного мужа, пузырёк с иодом, подушку, одеяло и, возвратившись в домик, принялась перевязывать Василия.

Ей никогда не приходилось иметь дело с такими серьёзными ранами. Дрожащими от жалости и боли руками она накладывала белые полосы на плечо Василия, но они тотчас же пропитывались кровью, и под повязкой что-то хлюпало и бурлило, как закипающая вода. Василий лежал с закрытыми глазами, с тем выражением покоя и надежды, какое

бывает даже у безнадежных раненых, когда они чувствуют на своём теле чьи-то тёплые руки.

Марья Петровна уже не думала о Рите,— вернее, мысль о ней потускнела в заботах о раненом. Всем своим существом она ощущала его страдания и удивлялась терпению, с каким он переносил боль, и ей было приятно видеть его в свежем белье, умытого, умиротворённого.

Но когда она собралась уходить, Василий вдруг открыл глаза и окрепшим голосом сказал:

— Этой ночью помру... А ты напиши домой... про всё. И ещё прошу... похорони меня по-хорошему...

И в этих словах было такое страшное сознание своей обречённости, что Марья Петровна расплакалась.

— Всё... всё исполню,— прошептала она сквозь слёзы.

— Поцелуй меня,— сказал Василий, и Марья Петровна порывисто прильнула губами к горячей его щеке.

Он снова закрыл глаза, как бы засыпая. Марья Петровна постояла, вытерла слёзы и на цыпочках вышла из домика, погружённого в напряжённую тишину.

Всю ночь за окнами завывал ветер, а Марья Петровна сидела с широко раскрытыми, удивлёнными глазами и думала о человеке, умиравшем в одиночестве, в полном и ясном сознании неотвратимости смерти. И ей было стыдно вспомнить о своих страхах, о тревоге за Риту и о том, как она перетаскивала шкаф, надеясь отгородиться им от беды, и как, увидев на крыльце Василия, просила его уйти... Такими ничтожными показались ей все ее мысли и чувства рядом с величием того, что совершалось в домике через дорогу, и вся жизнь её в этом городе — жизнь портнихи, ограниченная до-

машными маленькими заботами, радостями и огорчениями, представлялась ей неправильной, убогой и жалкой.

Когда Марья Петровна снова пришла навестить Василия, он лежал в той же позе спокойно уснувшего человека, только рука была откинута в сторону и пальцы сжаты пригоршней, словно умерший зажал в ней что-то бесконечно ему дорогое.

Нужно было исполнить последнюю просьбу умершего. Вчера она казалась такой лёгкой, что Марья Петровна, не задумываясь, дала обещание. Но, очутившись наедине с покойником, она растерянно подумала: «Нужно получить разрешение немецкого коменданта. В городе ничего не делается без его разрешения... И как ему объяснить, откуда взялся этот человек в домике моей сестры, кто он, почему умер?»

Марья Петровна попросила своего квартиранта написать заявление коменданту. Старик хорошо знал немецкий язык и написал, что недавно пришёл выпущенный из советской тюрьмы сын сестры Марии Петровны, по дороге был ранен неизвестно кем, умер и теперь его нужно похоронить по христианскому обряду.

Марья Петровна выслушала заявление, и ей стало горько, что приходится выдавать честного человека за преступника, унижать его достоинство, клеветать на него перед лицом врага. Но, не видя другого выхода, она пошла к коменданту. Просителей было много, она простояла в очереди до самого вечера.

— Я хорошо говорю по-русски. Говорите коротко,— промычал комендант,— ему было лень читать длинное послание.

Мария Петровна повторила содержание заявления,— вдвойне мучительней было самой называть Василия преступником против советской власти. Язык

не повиновался ей, и комендант, подозрительно взглянув на неё, строго сказал:

— Идите в полицию. Она проверит, что это за человек. Тогда придёте ко мне.

По дороге в полицию Марья Петровна узнала, что полицейским назначен зять фельдшера, сидевший в тюрьме за воровство и прозванный в городе Уркою. Итти к нему, значит выдать себя с головой. Марья Петровна ни с чем вернулась домой.

«Что же делать? — с отчаянием подумала она, взглянув на угрюмый домик с заколоченными окнами. — Даже умереть нельзя по-человечески...»

Уже два дня Василий лежал непогребённым, и Марья Петровна расплакалась от сознания бессилия своего перед тупой и злой силой, издевавшейся над ней, от обиды за Василия и горечи, что она не может исполнить его последнюю просьбу.

Похоронить по-хорошему человека — не значит ли это надолго сохранить память о нём в своём сердце, почувствовать тяжесть утраты, оценить её и понять необходимость её для продолжения жизни? Не значит ли это делами своими продолжить оборванную жизнь человека, — поступать, как поступал он, думать, как думал он, любить тех, кого любил он, и ненавидеть его врагов?

И когда Марья Петровна подумала так, ей стало ясно, что она не поняла сразу последнюю просьбу Василия, что он не хотел, чтобы она унижалась перед врагами, но в предсмертную минуту, сжав руку в кулак, хотел напомнить ей, что жить надо со злостью в сердце.

Владимир Иванович удивился, когда Марья Петровна попросила его помочь ей водрузить шкаф на старое место. Рита вышла из своего заточения. Флокс, радуясь свободе, рычал и подпрыгивал. Вооружившись железной лопатой, Марья Петровна сказала:

— Нужно выкопать могилу. Вдвоём ва ,ночь управимся. А вы, Владимир Иванович, сделайте гроб. Доски можно снять с сарая, они почти новые...

— Я никогда не делал гробов, Марья Петровна,— робко возразил старик, но Марья Петровна молча положила перед ним молоток, пилу и гвозди.

Могилу копали среди капустных гряд. Земля ещё не успела промёрзнуть глубоко, и Марья Петровна, чередуясь с Ритой, скоро приготовила могилу. Владимир Иванович сколотил гроб, похожий на ящик.

Самое трудное было впереди: нужно было отнести гроб в домик через дорогу, уложить Василия, пронести на огород. Владимир Иванович страдал одышкой, одышка перехватила ему дыхание как раз в тот момент, когда они несли гроб через улицу,— пришлось остановиться и ждать, когда старик переведёт дыхание. Ветер кружил на мостовой сухие листья, а Марье Петровне казалось, что кто-то крадётся в темноте, подсматривает из-за угла...

Утром на огороде всё было попрежнему: на опустевших, расплывшихся от осенних дождей грядках торчали капустные кочерыжки, и только одна из гряд была темней и аккуратней других.

Ф Е Т И С З Я Б Л И К О В

Их было двенадцать, и сидели они в холодном колхозном амбаре под огромным висячим замком. Было слышно, как снег скрипит под тяжёлыми башмаками часового.

— Видать, крепко забирает мороз,— сказал Фетис, нарушив молчание, тяготившее всех.

А молчали потому, что все думали об одном и том же. Утром их спросили:

— Кто из вас коммунисты?

Они промолчали.

— Ну, что ж, подумайте,— сказал офицер, выразительно кладя руку на кобуру парабеллума.

Коммунистов в деревне было двое: председатель колхоза Заботкин и парторг Вавилыч. Заботкин был казнён немцами утром на площади, на глазах всех колхозников.

Заботкин был человеком могучего сложения,— лошадь поднимал: подлезет под неё, крякнет и поднимет на крутых своих плечах, а лошадь только ногами в воздухе перебирает... Накануне Заботкин вывихнул ногу, вытаскивая грузовик из грязи, и не мог уйти в леса.

Его привязали за ноги к одному танку, а руки прикрутили к другому и погнали танки в разные стороны. Заботкин успел только крикнуть:

— Прощайте, братцы!

И все запомнили на всю жизнь глаза его,— большие, чёрные, бездонные и такие строгие, что Фетис подумал: этот человек спросит с тебя даже мёртвый. И каждому казалось, что Заботкин смотрит на него,— вот так бывает, когда смотришь на портрет: глаза направлены прямо на тебя, пойдёшь влево — и глаза за тобой идут неотступно. И Фетис решил, что Заботкин смотрит именно на него, смотрит строго, укоризненно, как бы говоря: «Эх, Фетис, Фетис! Если бы ты во-время подал мне доску под колёса грузовика, а не чесал в затылке, то я ногу не вывихнул бы, в плен к немцам не попал бы и не претерпел бы страшных мук...»

И, припомнив всё это, Фетис сказал вслух:

— Доску-то... Доску надо бы...

Кое-кто из одиннадцати посмотрел на Фетиса с недоумением. А парторг Вавилыч переложил свои костыли и поднял голову. Встретив угрюмый взгляд парторга, Фетис подумал: «И этот на меня злобится». Вавилыч и в самом деле смотрел на него

неодобрительно, хмуря свои чёрные брови, и Фетис потупился, думая: «И что за волшебство у этого калеки?! Посмотреть,— в чем только душа держится, а как глянет на тебя,— конец, сдавайся».

Вавилыч обезножил два года назад. Везли весной семена с элеватора, а дорога уже испортилась, в лощинах напирала вода. Лошади провалились под лёд, а мешки с драгоценными семенами какой-то редкой пшеницы потонули. Вот тогда Вавилыч прыгнул в ледяную воду и давай вытаскивать мешки. За ним полезли и другие, только Фетис оставался на берегу...

С тех пор Вавилыч ходит на костылях, но в глазах его обнаружилась вот эта непререкаемая сила, и Фетису стыдно и боязно глядеть в эти глаза.

Вавилыч сидел, сгорбившись, и напряжённо думал. Он не сомневался, что немцы казнят и его, и вот теперь было важно установить: что же хорошего сделал он на земле — член коммунистической партии? Какие слова на прощанье скажут ему в душе своей вот эти одиннадцать человек? И найдётся ли среди них такой, который укажет на него врагу?

Мысленно Вавилыч стал проверять всех, кто был с ним в амбаре. Он хорошо узнал их за пятнадцать лет и видел, что лежит на сердце у каждого,— вот так видны камешки на дне светлого озера.

Маленький, высохший дед Данила зябко потирал руками босые ноги,— немцы сняли ~~сапоги~~ валенки. Ноги у старика были тоненькие ~~водосатые~~, с узлами синих вен. Сын его — Тимоша — командовал на фронте батареей. Ни одного слова не выжмут ~~пальцы~~ из человека, сын которого защищает родину.

Умрёт, но стойко выдержит все муки и бригадир-полевод Максим Савельевич. Когда Вавилыч вербовал его в партию, он сказал:

— Не достоин. У коммуниста должна быть душа какая? Чтоб в неё всё величество-человечество влезло... Я уж лучше насчёт урожая хлопотать буду.

И он очень обрадовался, когда услышал, что есть такие — непартийные большевики.

— Вот это про меня сказано!

...Рядом с ним сидит Иван Турлычкин — существо безличное, можно сказать, но он — кум Максима Савельевича и пойдёт за ним в огонь и в воду.

Вот так — одного за другим перебрал Вавилыч десять человек и никого из них не мог заподозрить в подлости, на которую рассчитывал враг. Остался последний — Фетис Зябликов.

Угрюмый этот человек был всегда недоволен всеми и всем. Какое бы дело ни затевалось в колхозе, он мрачно говорил:

— Опять карман выворачивай!

Когда Вавилыч приходил к нему в дом, с трудом волоча свои ноги, Фетис встречал его неприветливо:

— На аэропланы просить пришёл? Или на негров?

Колхозный парторг в речах своих любил говорить: «Вот так живём мы. Теперь посмотрим на негров...» А Фетис, бывало, ему непременно крикнет: «Нам на них смотреть нечего!» — и пойдёт к дверям. Тогда Вавилыч приходил к нему в дом, читал ему лекции о государстве, об обязанностях гражданина, и в конце концов Фетис подписывался на заём, причём тут же вынимал из кармана засаленный кожаный кошелек и долго пересчитывал бумажки, поплёвывая на пальцы.

— Ты, Фетис, как свиль берёзовая, — сказал ему как-то Вавилыч, выйдя из терпения.

Свиль — это нарост на берёзе, все слои в нём перекручены, перевиты между собой, как нити в запутанном клубке, и такой он крепкий, неподатливый, что ни пилой его не возьмёшь, ни топором.

«Так и не обтесал его за все годы»,— с горечью подумал Вавилыч, разглядывая Фетиса.

А Фетис подсаживался то к одному, то к другому и что-то нашёптывал, низко надвинув на глаза баранью шапку. Вот он прильнул к уху Максима Савельевича, а тот мотает головой, отмахивается от него руками.

— Уйди! — сурово сказал он.— Ишь чего придумал...

Это слышали все. «Уговаривает выдать меня»,— подумал Вавилыч и, приготовившись к неизбежному, так сказал самому себе: «Ну, что ж, Вавилыч, держи ответ за всё, что сделал ты в этой деревне за пятнадцать лет».

А сделано было немало. Построили светлый скотный двор, сделали пристройку к школе под квартиры учителей. Вырыли пруд и обсадили его вётлами. Правда, вётлы обломаны,— никак не приучишь жещин к культуре: идут встречать коров, и каждая ломает по пруту... Что ещё? Горбатый мост через речку навели... А сколько нужно было усилий, чтобы уговорить всех строить этот мост!

Вавилыч ещё раз оглядел сидящих в амбаре и вдруг припомнил, что все эти люди были до него совсем не такими. Пятнадцать лет назад Максим Савельевич побил деда Данилу за то, что тот поднял его яблоко, переброшенное ветром через забор на огород Данилы, а на другой год дед Данила убил курицу Максима Савельевича, перелетевшую к нему в огород. А потом эти же люди сообща возводили горбатый мост и упрекали того, кто не напоил во-время колхозную лошадь. Теперь все они — члены богатой, дружной семьи. И Вавилыч почувствовал радость, что всё это — дело его рук, его сердца, что всё это построено в душах людских ценой его собственного здоровья, что он с честью выполнил долг коммуниста...

И, опершись на костыли, поскрипывая ими, он подошёл к двери, чтобы в узкую щель в последний раз окинуть взором дорогой ему мир.

Фетис сидел возле двери и, увидев, что Вавилыч направляется в его сторону, съёжился и подался в угол. Здесь было темно. Отсюда он следил за парторгом, и на лице его было удивление, как тогда, когда Вавилыч первым прыгнул в ледяную воду, а он стоял на берегу, не понимая: как это можно лезть в реку и, стоя по грудь среди льдин, вытаскивать мешки с зерном, которое принадлежит не тебе одному?

Вавилыч смотрел в щель, и лицо его было освещено каким-то внутреннем светом, он улыбнулся, как улыбаются своему дитяти.

И когда Вавилыч отошёл, Фетису страстно захотелось узнать, что такое видел парторг в узкую щель? Он припал к ней одним глазом и замер.

Над заваянной снегом крышей его дома поднималась верхушка берёзы. И крыша, и опушённая инеем берёза, и конец высокого колодезного журавля были озарены золотисто-розовым светом. Это были лучи солнца, идущего на закат. Всё это Фетис видел ежедневно, всё было так же неизменно и неподвижно, и в то же время всё было ново, неузнаваемо. Снег на крыше искрился и переливался цветными огоньками. Он то вспыхивал, и тогда крышу охватывало оранжевое пламя, то тускнел, и тогда становился лиловым, и вороньи следы-дорожки чернели, как вышивка на полотенце. Опущенные книзу длинные ветви берёзы висели, как золотые кисти, и вся она была точно красавица, накинувшая на плечи пуховую белую шаль... Вот так выходила на улицу Таня по праздникам, и все парни вились возле неё, вздыхая, гадая: кому достанется дочь Фетиса? Нет теперь Тани, нет ничего... Немцы увезли её неизвестно куда.

И только теперь, глядя в щель, Фетис понял,

что было у него на земле всё, что нужно для человеческого счастья. И он всё смотрел и смотрел, не отрываясь от щели, тяжело дыша, словно поднимал большой груз.

Он почувствовал вдруг чей-то взгляд на себе, обернулся и встретился с глазами Вавилыча, и были они такие же огромные, чёрные, суровые, как у Заботкина в последний миг его жизни.

Но было в этих глазах ещё что-то колющее, холодное, отчего Фетис вздрогнул. «Неужто боится, что я выдам его?» Фетису стало страшно, и он в замешательстве вновь повернулся к щели.

Вот улица, по которой ходил он всю жизнь, не замечая её красоты. Вдали поблёскивает молодой ледок на пруду, пустынна его сверкающая гладь, не слышно громкого смеха детей, звонкого перезвона коньков. Угрюмо стоит школа, превращённая немцами в застенок... Солдаты рубят вётлы, посаженные вокруг пруда, словно мало им дров в лесу... Неподвижно стоит на горке ветряк, беспомощно раскинув обломанные крылья,— погас источник яркого и чистого света, горевшего в каждой избе и даже на скотном дворе. Умолк весёлый стук молотилки на току, и, как корабль, затёртый льдами, чернеет в поле комбайн...

Фетис вспомнил, с какими трудами всё это строилось и росло, как недовольно ворчали многие и громче всех — сам Фетис,— не по несогласию, нет, а уж такой нрав у него, любит поломаться, повздорить, хотя все знают, что от людей он не отстанет: и пруд копал вместе со всеми, и вётлы сажал, и горбатый мост строил. И никогда так дорог не был ему этот построенный его руками мир, как в эту горькую минуту неволи, когда он смотрел в крохотную щель амбара. И ещё горше было видеть в глазах Вавилыча колющие искорки подозрительности.

«У нас в деревне все коммунисты», — вот как нужно сказать немцам! Но когда Фетис сказал об этом

Максиму Савельевичу, тот отверг предложение: тогда немцы всех убьют, а нужно так придумать, чтобы и в живых остаться, и Вавилыча не выдать, и от коммунизма не отречься, и гордость свою показать перед немцем. Может, твёрдо стоять на том, что нет в деревне никаких коммунистов.

Дедушка Данила сказал, что ему всё равно помирать, и он согласен принять на себя муки Вавилыча, объявиться коммунистом перед немцами. Однако и это отвергли, потому что какой уж коммунист из дедушки Данилы,— чуть на ногах стоит.

...Фетис смотрел в щель на угасающий зимний день, жадно вбирая всем сердцем недоступную и потому такую желанную жизнь. Он принимал, её всю,— со всей горечью и отрадой, с беспокойством о делах государства и далёких негров, с неустанным трудом на общем поле и шумными собраниями по ночам, с болью во всех суставах и весёлым хмелем осенних пирушек. Всё было хорошо в этом утерянном мире...

Визжал снег под башмаками немецкого часового, а Фетис всё смотрел в щели и думал: «Мне бы в неё раньше глянуть... Вот недогадка...»

Потом он подошёл к Вавилычу и, трогая его непривычными к ласке руками, проговорил:

— Озяб, небось... Ну, ничего... Это ничего... На вот,— он протянул ему свои рукавицы.

Загремел замок. Немец закричал, открывая дверь, и сделал знак, чтобы все вышли.

Их поставили в ряд против школы. И все они смотрели на новую пристройку к школе, и каждый узнавал бревно, которое он обтёсывал своим топором.

По ступенькам крыльца спустился офицер. Это был пожилой человек с холодными серыми глазами, с презрительной складкой у губ.

— Коммунисты, выходить!— сказал он, закуривая папиросу.

Двенадцать человек стояли неподвижно, молча, а Фетис, отыскав глазами берёзу, смотрел на буграстый чёрный нарост на её стволе, похожий издали на грачиное гнездо.

«Свиль... Ну, и что ж. Свиль берёзовый крепче дуба»,— торопливо думал он, шевеля губами. И в этот момент до слуха его вновь донёсся нетерпеливый крик:

— Коммунисты, выходить!

Фетис шагнул вперёд и, глядя в холодные серые глаза врага, громко ответил:

— Есть такие!

Офицер вынул из кармана записную книжку.

— Фамилий?

Фетис широко открыл рот, втянул в себя морозный воздух и натужно, с хрипотой крикнул:

— Фетис Зябликов! Я!

Его окружили солдаты и отвели к стене школы. Он стоял, вытянувшись, сделавшись выше, плечистей, красивей. Стоял и смотрел на берёзу, где чернел нарост, похожий на грачиное гнездо.

В радостно-тревожном изумлении глядели на него одиннадцать человек. А Максим Савельевич тихо сказал:

— Достоин.

ГНЕДАЯ ЛОШАДЬ

Иван Шмарин, прищуривав левый глаз, смотрел в оптический прицел винтовки, медленно передвигая её слева направо.

В круглом окошечке прицела, расчерченном тремя чёрными линиями перекрестия, были видны кусты,

кусок проволочного ограждения, белое, словно покрытое снегом поле в цветущих ромашках. Вправо темнел бугорок немецкого блиндажа, и Шмарин ждал, что к этому бугорку вот-вот шмыгнёт из кустов серовато-зелёная фигура с термосом за спиной,— приближался обеденный час. Три дня подряд Шмарин оставлял немцев без обеда.

Когда из блиндажа вышел, наконец, солдат с термосом, Шмарин взглянул на часы — было ровно два пополудни.

— Смотри, Амаев, немец пошёл за обедом,— сказал он.

Смуглый, молчаливый черкес Амаев порывисто схватился за винтовку, но Шмарин остановил его спокойным голосом:

— Не торопись. Пусть идёт. Нам больше интереса убить его, когда он с обедом пойдёт... И немца убьём, и всех солдат в блиндаже без обеда оставим. А человек, не евши, долго не высидит. Станут они выползать из блиндажа, а мы с тобой тут их и покормим. Правильно говорю?

Шмарин беззвучно смеялся, светлые глаза его излучали лукавство, а черкес сердито фыркал, и пальцы его нервно теребили ремень винтовки. Его злила и удивляла эта холодная расчётливость: видеть врага и не стрелять в него, потому что он идёт с пустым термосом!

Амаев не сводил глаз с немца и дрожал от ярости, ноздри его раздувались, а смуглые щёки стали серыми.

— Горяч ты больно,— улыбаясь, сказал Шмарин, заглядывая в лицо Амаева и ласково щуря глаза.— Я вот тоже горячился, бывало, на охоте. Увижу утку и сразу — бах! А отец, бывало, покачает головой: «Дурак ты, Иван. Ты обожди, пока их пять вместе сплывётся, тогда и бахай». Ну, правда, и порох в цене был, не то что на войне... Теперь вон

езде патроны валяются... У меня сердце переворачивается, как патрон увижу на земле...

Амаев сорвал травинку и грыз её острыми мелкими зубами.

— Тебе не воевать бы, а в конторе на счётах считать. Дебет — кредит! — проговорил Амаев, срывая вторую былинку.

— Точно, — спокойно согласился Шмарин, — я в колхозе завхозом был. Люблю, чтоб всё было в порядке. И на войне порядок должен быть. Ежели каждый будет зря патроны бросать, большой от этого убыток получится... Этак-то один немец во что обойдётся?

Амаев рвал травинки, перекусывал, и на губах его набилась зелёная пена. Его раздражал этот завхоз с рыжими закрученными усами и улыбающимися светлыми глазами, озабоченный тем, чтобы убитый немец обошёлся как можно дешевле.

— Дебет — кредит! — фыркнул Амаев, но уже весело, ему хотелось загладить свою резкость, — он уважал Шмарина, так как на его «дебете» значилось пятьдесят три убитых немца, а он, Амаев, имел только сорок два. Амаеву даже казалось, что Шмарин выбирает себе самых «удобных» немцев, а ему оставляет самых «трудных», и хитрость свою прикрывает ласковой улыбкой. Сейчас вот можно было бы наверняка свалить немца, — он шёл почти во весь рост, но назад он будет ползти на животе, извиваясь, как уж, в густой ромашке. Конечно, Шмарин сам не станет стрелять, скажет: «Это твой, Амаев».

Вчера Амаев промахнулся, а Шмарин свалил немца и, улыбаясь, сказал:

— Теперь у меня пятьдесят три штуки. Ничего мы с тобой поработали!

Черкеса злили эти слова: «штука», «поработали», — какие-то обидно будничные, не соответствующие тому возвышенному волнению, которое не покидало Амаева

с первого дня войны. Ему больше нравилось ходить в атаку, колоть, догонять, врываться в немецкие блиндажи и глушить гранатами немцев. В снайперской засаде нужно было терпеливо лежать и ждать иной раз весь день. Однажды пришлось выслеживать десять дней подряд, и только на одиннадцатый удалось снять с дерева немецкого снайпера.

Да, это было похоже больше на работу, чем на войну, и Шмарин работал много и упорно. Он долго отыскивал подходящее место для стрельбы, и не одно, а несколько, чтобы чаще менять их. Потом Шмарин измерял расстояние до кустов, бугорков, деревьев, которые с этого момента тоже начинали работать, служа Шмарину ориентирами. Прежде чем приступить к настоящей работе, Шмарин старательно маскировался. На это уходило не меньше часа. Шмарин искусно мастерил себе «шапку-невидимку» из травы и веточек и совершенно исчезал из глаз немецкого наблюдателя. Но Шмарин не успокаивался на этом, он сооружал упор для винтовки, проверял, удобно ли будет стрелять, положив на него винтовку. Он расчищал землю под локтем, подстилал под себя траву, протирал чистой тряпочкой стёкла прицела, и все его движения были рассчитаны, экономны, спокойны, как у человека, выполняющего привычную работу.

И винтовку он держал в руках легко, без напряжения, как притёршийся к рукам инструмент. Амалев же, прикасаясь к оружию, испытывал то острое возбуждение, которое охватывало его в детстве, когда он брал в руки отцовский кинжал, и одно это прикосновение вызывало нетерпеливое желание действовать. Немец был для него таким же врагом, как змея, и Амаев при одном взгляде на серовато-зелёную фигуру хватал оружие, не размышляя, подчиняясь лишь чувству гадливой ненависти.

— Горячий ты,— повторил Шмарин, хотя черкес уже успокоился.— Кони такие попадались мне... Я и завхозом был, и коней выращивал. Молодых жеребят объезжал. К нему с хомутом, а он на дыбы! Ну, ничего, побесится, люпрыгает, а потом и обмякнет...

Любовь к лошадям была обоюдною, хотя Шмарину больше были по душе спокойные, терпеливые кони, а черкесу нравились горячие скакуны.

— Иной пляшет, играет, и так, и этак повернётся, смотрите, мол, на меня, какой я вёрткий да красивый. А мне это ни к чему. Конь не телом красив, а работой... Навалю на телегу соломы или сена пудов полсотни и вези...

— Хорошая лошадь должна быстро бегать,— возразил Амаев, загораясь.— Хорошая лошадь, как ветер. А когда лошадь спокойная, скучно ехать. Заснуть можно, в пропасть свалиться можно.

— У нас степь кругом, не свалишься. Зато как намаешься в поле, ляжешь на воз и спи. Конь тебя домой в сохранности и привезёт, прямо к воротам. Был такой у меня. Орликом звали... Гнедой масти, а ум человеческий...

— Надо было стрелять. Упустили,— прерывая его, проговорил о своём Амаев.

— Придёт,— уверенно откликнулся Шмарин.— Голод не тётка.

Солнце легло на вершины леса, и ромашки стали лиловыми. Слева затрещал пулемёт, но скоро умолк; далеко впереди ударила пушка, а через несколько секунд вверху, завывая, пронёсся снаряд; потом далеко позади прогремел взрыв.

— Из дальнобойной,— сказал Шмарин.

Опять завыло вверху, и опять донёсся глухой широкий взрыв. Начинаясь вечерняя дуэль. В сторону немецких окопов пролетел наш снаряд, и земля вздрогнула, как лошадь, которую ударили кнутом.

А немца всё не было.

— Хитрит,— сказал Шмарин, уже сомневаясь, что немец появится до темноты.— Видно, сообразили, что лучше посидеть до ночи не евши, чем отправиться на тот свет.

Шмарин напряжённо смотрел в оптический прицел, проверяя каждый кустик, ощупывая траву, всматриваясь в густую ромашку, от которой рябило в глазах. Он протирал глаза толстым указательным пальцем правой руки, на котором не было первой фаланги,— её оторвало пулей, и Шмарин стрелял, нажимая на спуск третьим пальцем. Указательным же было удобней протирать глаза, потому что «культя», как ласково называл Шмарин свой палец, заканчивалась мягкой подушечкой. Эта «культя» доставила Шмарину много неприятностей — из госпиталя его направили на нестроевую работу. Шмарин долго доказывал, что он может стрелять, что «культя» ему не помеха, и добился своего.

— Перехитрил меня немец,— огорчённо сказал он, отрываясь от прицела, чтобы дать отдохнуть уставшим глазам.

— Лошадь вышла,— проговорил Амаев и с досадой сплюнул.

На поле, поросшее ромашками, вышла лошадь. Она пощипывала траву, отмахиваясь хвостом от комаров и встряхивая головой, и оттуда, с поля, повеяло на Шмарина чем-то родным, близким, словно раскинулась перед ним милая степь, объятая вечерним покоем. И лошадь паслась, как за деревенской околицей, не обращая внимания на вой снарядов и раскаты недалёких разрывов,— комары беспокоили её больше.

— Гнедая лошадь,— сказал Амаев, припав к прицелу.

Шмарин тоже глянул в прицел,— золотистая шерсть поблёскивала на спине лошади. Густой щёткой стояла подстриженная грива.

«На Орлика похожа»,— подумал Шмарин, уносясь мыслями домой. И он увидел село своё, дом, бескрайные просторы полей, жёлтое море пшеницы, пирамиды стогов, камыши, стаи уток, со свистом пересекающие вечернюю тишину...

И Амаев увидел дом свой, прилепившийся к скале, и розовые шапки снеговых вершин, озарённые заходящим солнцем, и парящего в небе орла, и всадника, скачущего по тропинке над чёрной бездной ущелья...

Шмарин тяжело вздохнул и положил винтовку. Амаев продолжал смотреть в прицел, он не мог оторваться от лошади,— она казалась ему прекраснейшей из лошадей.

Солнце спряталось за лесом, лошадь почернела. Вдруг Шмарин быстро припал к винтовке. «Немца увидел»,— подумал Амаев, но в перекрестие прицела опять попала лошадь, он повёл прицелом вправо и возле куста увидел ползущего по траве немца с термосом. До куста четырёста метров,— вспомнил Амаев и прицелился, ожидая выстрела Шмарина. Но тот медлил почему-то, и Амаев выстрелил. Немец вытянулся, но рука его, протянутая к кусту, так и замерла.

«Убит»,— с удовлетворением подумал черкес и взглянул на Шмарина, ожидая похвалы. Но Шмарин напряжённо целился, и рука его заметно дрожала. «В кого же он?»— удивился Амаев, глядя в прицел.

Он опять увидел лошадь, пощипывавшую траву. Вдруг над ухом черкеса прогремел выстрел. Лошадь вскинула голову, взмахнула хвостом, как бы отбиваясь от овода, и рухнула на передние ноги.

Амаев изумлённо взглянул на Шмарина,— рыжие усы были измяты, губы вздрагивали, и всё лицо было перекошено, словно от боли. Не глядя на черкеса, Шмарин надел кожаный чехол на оптический прицел, сорвал с каски пучок травы, веточки и быстро зашагал между деревьями.

Черкес шёл за ним, мягко ступая по хвое, стараясь не мешать Шмарину думать о том, что сейчас произошло. И сам раздумывая над поступком Шмарина, он угадывал причину его волнения.

Черкес понимал, что человеку, любящему всё живое, труднее убить лошадь, чем пятьдесят трёх немцев, но что убить её нужно было,—таков немолчимый закон войны с немцами.

Черкес хотел догнать Шмарина, сказать ему какое-нибудь ласковое слово, но Шмарин шёл очень быстро и в темноте слышен был сухой резкий хруст валёжника под его стопую.

И С К Р А

Дедушка Трофим терпеливо обучал Гришу древнему искусству добывать огонь. Прижав большим пальцем левой руки кусочек сушёного трута к обломку кремня, дедушка ударял по камню стальной плашкой,—из-под пальца выбивалась синяя струйка дыма, и по избе растекался приятный запах тлеющего трута. Коротким старческим дыханием дедушка раздувал искру, а Гриша изумлённо расспрашивал:

— Дедушка, а где живёт огонь? В камушке?

— Нет, милёнок, не в камне. Камень холодный, пощупай.

Гриша рассматривал розоватый с лиловыми прожилками камень, вертел в руках плашку, с блестящим от частых ударов ребром.

— А может, в железке?

— Железка-то холодней камня, милёнок,—сказал дедушка, хитро щуря весёлые глаза.

— А я знаю, где он. В труте!

— И там его нет, милёнок.

— Где же он живёт, дедушка? Ну, скажи скорей,—Гриша тормозил деда, сгорая от любопытства.

Дед протянул большую тёмную руку, сжатую в кулак.

— Вот где огонь.

Гриша разжал пальцы деда и обиженно проговорил:

— Обманываешь. Тут ничего нет...

— Ан есть!— весело сказал дедушка и, взмахнув рукой, с одного удара высек искру.— Вот она где искра-то,— в руке человека, милёнок! Рука и дом выстроила, и берёзку под окном посадила, и дров наколола, и хлеб в поле посеяла... Вон какая в ней сила, милёнок!

Гриша с уважением посмотрел на тёмную сухую руку дедушки, поросшую белыми волосками, с наростами на сгибах толстых пальцев, с крючковатыми ногтями, такими крепкими, что, казалось, ими можно выдёргивать гвозди.

— А ну-ка, попробуй сам,— сказал дедушка, протягивая Грише кремень.

Но только Гриша взмахнул рукой, как на улице послышались выстрелы, крики, конский топот, и дедушка, выглянув в окно, побелел.

— Немцы! Беги, милёнок, на Барсучий... Беги, не оглядывайся!— торопливо прошептал он выгаликивая внука из хаты.— Пережди там и никуда не уходи...

И Гриша побежал, слыша позади треск выстрелов, вопли, женский плач. Он знал, что такое немцы: они увели куда-то его мать, весёлую и ласковую хлопотунью. Гриша прыгал через грядки, на которых она посадила лук и морковь, и хотя ему было страшно, старался не задеть ногами нежные побеги. В кармане его брнчали какие-то железки, кремень, складной нож, жестяная коробка из-под зубного порошка.

Весь день Гриша просидел под ёлкой в лесу, глядя на густые чёрные клубы дыма, поднимавшегося над

деревней, и дрожал от страха. Вечером захотелось есть, и он пошёл домой. Но чем ближе он подходил к деревне, тем страшней становилось ему: он не видел ни домов, ни сараев, ни колодезного «журавля», ни кудрявой берёзы, что стояла возле дома, опустив на крышу длинные ветки,— деревня исчезла, лишь торчали задымленные печи да курился синий едкий дым, распространяя тоскливый запах гари. На столбике, уцелевшем от огня, сидел котёнок Дружок и жалобно мяукал, глядя на Гришу большими печальными глазами. На доске, прибитой к столбику, было написано чёрными крупными буквами:

«Такой наказаний будет взем болшовик».

Гриша тупо смотрел на непонятные слова, на дымящиеся головни и побитую посуду, которая у матери всегда сверкала чистотой, на обвалившуюся печь, где он с дедушкой спал под тулупом,— и ему казалось, что он видит нехороший сон, но стоит только позвать дедушку, и всё пропадет. Он закричал:

— Дедушка-а! Дедушка-а-а!

Никто не отозвался. Мяукал котёнок. Чёрные головни, словно змеи, шипели вокруг, сверкая красными злыми глазами. Гриша снял котёнка со столбика, посадил его за пазуху и пошёл на Барсучий,— так назывался песчаный холм в глубине леса, поросший соснами. Туда ходил он с дедушкой ловить барсуков, сало которых, по уверению дедушки, избавляет человека от всяких болезней.

Гриша пришёл на Барсучий к ночи и, уверенный, что к утру придёт сюда непременно и дедушка, улёгся на дно песчаной ямы, прижал к себе Дружка и уснул.

Но дедушка не пришёл ни утром, ни на следующий день, и Гриша заплакал, только теперь догадываясь, что остался в живых лишь он, Григорий Савоськин, ученик четвёртого класса. И мысль эта так ошеломила Гришу, что он перестал плакать.

— Я буду один... один... один,— шептал он, стараясь постигнуть жестокий смысл этих слов и не в силах представить себе, как он будет жить совершенно один, в глухом лесу, без дома, без хлеба, без дедушки, без товарищей. Он будет один в этом лесу и завтра, и послезавтра, и через месяц, и никто не принесёт ему хлеба, и всё так же будет шуметь лес день и ночь, и птицы будут разговаривать на своём языке, только ему, Грише Савоськину, не с кем будет сказать слова, и придётся всё время молчать, молчать... Пойти в соседнюю деревню, к людям? Но ведь и там немцы... Да и дедушка наказывал никуда отсюда не уходить.

Размышления его прервало мяуканье котёнка, Гриша обрадовался ему, схватил, прижал к своему телу, нашёптывая ласковые слова:

— Дружок мой... Дружок мой, хороший... Ты есть хочешь? Не плачь, Дружок! Я тебя сейчас покормлю.

Когда слабый видит рядом с собой существо ещё более незащитное, он становится чуточку сильнее: ответственность за слабейшего делает нас мужественными. Гриша, забыв о том, что ему самому хочется есть, принялся ловить бабочек и кормить ими Дружка. Котёнок, к удивлению Гриши, ел даже какую-то травку. Гриша попробовал её жевать, она оказалась горькой. Мягкие, молодые побеги ёлочки были вкусней — кисловатые, вязущие, ароматные...

— Ничего, Дружок, скоро поспеют ягоды, вырастут грибы, орехи. Мы тогда заживём с тобой,— утешал Гриша котёнка, укладываясь на ночь на дно своей ямы.

Вдруг Дружок заурчал, как всегда, если что-нибудь ему угрожало. Послышался шорох, потом похрюкивание, и всё смолкло.

— Это барсук,— догадался Гриша.— Эх, ты, тру-

сишка! Барсука мы поймает, и будет у нас с тобой, Дружок, сало.

На рассвете его разбудил оглушительный рёв. «Медведь!» — подумал Гриша и быстро вскарабкался на дерево. С вершины его он увидел чёрную корову. Она тоскливо мычала, поглядывая по сторонам, и Гриша понял, что ей тоже страшно одной в лесу. И, устыдившись своего страха, он спустился с дерева и пошёл к животному, а корова, увидев его, жалобно замычала. Она очень нуждалась в человеке: вымя её набухло от молока, и это причиняло ей боль.

Гриша припал губами к соскам, с наслаждением глотая тёплое молоко; корова стояла покорно, помахивая хвостом от удовольствия. Гриша надоил молока в жестяную коробочку из-под зубного порошка и накормил Дружка.

— Ну, брат, теперь мы с тобой жители! — радостно говорил он котёнку, поглаживая рукой корову. — Теперь у нас с тобой есть и кормилица.

Жизнь Гриши сразу наполнилась делами, а когда трудишься, то не чувствуешь и горя. Выбрав несколько сосен, стоявших тесно друг к другу, он заплёл промежутки между ними ветками и заставил корову войти в этот загон. На ночь он приготовил травы, нащипав руками, и на завтра корова сама пришла в загон, зная, что её ждет душистый корм.

Шли дни. Небо заволокло тучами, пошёл дождь. Гриша промок, сидя под деревом; вспоминая счастливую жизнь с матерью и бабушкой, он тосковал, но не плакал, а напряжённо обдумывал, что теперь делать, чтобы не умереть и дожидаться того дня, когда вернётся мать. Как бы пригодились бы теперь искусные бабушкины руки, умевшие всё делать!

«Вот она где искра-то, — в руке человека, милёнок», — вспомнил вдруг Гриша и в испуге обшарил карманы; нет, всё было цело: и стальная плашка,

и кремень, и крохотный кусочек трута... И вот над Барсучьим холмом поднялся весёлый дымок. Греясь у костра, Гриша думал:

«Перво-наперво избу надо строить. Под дождём да в холод не проживёшь. В своей избе оно лучше... Как можно! В своей избе — не на улице... И дверь закрыть можно... И вовсе не страшно...»

Он разыскал в лесу брёвна, видимо, давно заготовленные и уже потемневшие, но они были очень тяжёлые — не под силу. Гриша долго думал: как дотащить их на Барсучий? И, припоминая, как жили люди в колхозе, как трудились, как поднимали тяжести и пахали на коровах, потому что немцы угнали всех лошадей, Гриша деятельно принялся за постройку. Он сплёл из ветвей хомут для Кормилицы, отыскал слезы с толстыми сучьями на концах, прикрепил их к хомуту и повёл Кормилицу за рога. Он вкатил бревно на слезы, и корова потащила его на Барсучий. В дороге много раз упряжь разваливалась, но Гриша терпеливо связывал её лыками. Он уложил брёвна над песчаной ямой, и получился прочный накат. Из ивовых прутьев и веток он связал дверь и, когда прикрыл её за собой, почувствовал себя как дома.

Гриша припоминал весь опыт человеческой жизни,— и матери, и бабушки, и всех жителей Козловки,— и люди как бы оживали, помогая Грише советами и уменьем. Он сплёл себе лапти; он собирал и сушил грибы, как это делала мать; в углу его хижинки с каждым днём росла горка орехов; он нашёл в дупле диких пчел и, выкурив их дымом, как это делал колхозный пасечник Кузьмич, добыл мёду и несколько дней ходил с опухшим лицом от пчелиных укусов. Руки его огрубели, а на пальцах отросли такие же крючковатые, цепкие ногти, как у бабушки. Он удивлялся, что память его сохранила столько житейских мелочей, мимо которых он, каза-

лось проходил невнимательно, живя в деревне, и которые вдруг ожили здесь, на Барсучьем. Он ухитрился делать кирпичи и смастерил себе маленькую печь. Он сплёл корзину из ивовых прутьев, чтобы носить траву для коровы. Ни одной минуты он не оставался без дела, готовясь к зиме.

Шесть дней сторожил он с палкой вход в барсучью нору, дождался, когда барсук вылез на водопой, и оглушил его сильным ударом. Но барсук укусил его за ногу. Они долго боролись,— каждый за свою жизнь,— пока, наконец, не победил человек. Барсук оказался очень жирным. Гриша едва дотащил его до своей хижины. Он натопил сала, а из шкурки сделал меховой жилет. Рану на ноге он помазал барсучьим салом, и она быстро затянулась.

Гриша не заметил, как надвинулась зима,— так скоро прошло время в работе. Закружились первые снежинки, потом повалил густой снег, и всё вокруг покрылось сверкающей пеленой. Кормилица бродила по лесу, выкапывая из-под снега остатки травы и листья,— Гриша не давал ей заготовленного с большим трудом сена, зная, что придёт ещё более голодное время. Однажды корова не пришла домой. Гриша отправился на поиски и нашёл лишь рога, копыта да обглоданные волками рёбра.

Наступили злые морозы. Гриша почти не выходил из своей хижины. Он сидел у печки, прислушиваясь к завыванию вьюги, и тут навалилась сила, которую он уже не в состоянии был победить,— тоска по человеку. В свисте ветра он слышал человеческие голоса, в треске мороза — шаги человека. Он открывал дверь, напряжённо вглядывался в темноту, но никого не было... Только во сне приходили к нему люди: дедушка показывал, как нужно топить печь, чтобы было тепло и меньше сгорало дров; мать мыла посуду, расчёсывала ему волосы, пекла лепёшки: приходили товарищи и играли с ним...

А утром тоска с ещё большей силой овладевала им, причиняя мучительную боль. Дружок всё время спал, и Гриша не разговаривал с ним,— он жаждал человеческого слова. Он знал, что где-то далеко есть сёла и города, там живут люди, и они не знают, что в глухом лесу, зарывшись в землю, живёт Григорий Савоськин — последний из трёхсот сорока двух жителей Козловки, и ему не с кем поговорить о том, что делается на сердце человека, когда он один, а кругом шумит лес и рыскают волки.

Только бы несколько слов:

— Григорий Савоськин! Потерпи немного, и мы придём к тебе...

И он терпел... Тянулись дни и ночи, сливаясь в одну бесконечную ночь. Гриша потерял счёт дням и неделям, и ему казалось, что он живёт в одиночестве уже много-много лет, и детство было таким далёким...

Были и орехи, и сушёные грибы, и малина, и барсучье сало, но Гриша почти не прикасался ко всему этому. Он проводил время у огня, тоскливо глядя на догорающий сучок,— вот так и он, Григорий Савоськин, сгорит от тоски, не увидев человеческого лица. У него шатались зубы от истощения. Глубокие морщины залегли на маленьком лбу, а кожа на лице пожелтела, как у старика. И это был старик, переживший всё, что выпадает человеку за долгую жизнь, изведавший любовь и дружбу и потерявший их, видевший смерть и боровшийся с ней до тех пор, пока руки его не сковала безмерная усталость.

Он сидел, сгорбившись, придавленный тяжестью тишины, а в тёмных углах хижины шевелились тени, и казалось, что это крадётса сама смерть. Но ничто уже не пугало человека, уставшего ждать.

.

Лётчик, рассказавший мне эту историю, совершил вынужденную посадку на болоте возле Барсучьего. Он услышал кошачье мяуканье и по этому звуку нашёл хижину. Осветив её карманным фонариком, лётчик увидел маленького старичка, скорчившегося возле холодной печи.

Лётчик долго растирал снегом его руки и ноги, напоил водкой, укутал меховым одеялом, и Гриша очнулся. В тусклых глазах его затеплилась искорка, похожая на ту, что высекал дед из холодного камня.

Исправив повреждение в самолёте, лётчик уложил в него Гришу, сунул под бок ему отощавшего кота и взлетел.

— Вот и всё,— закончил лётчик свой рассказ.— За время войны я вывез больше сотни раненых партизан, разбомбил несколько складов врага, ну... и так далее... Меня считают героем, но... то, что претерпел, выдержал этот мальчик, я готов расценивать...— Он подумал и решительно, с волнением закончил:— Одним словом, я преклоняюсь перед героизмом Гриши Савоськина!

ОГОНЬ

В тот день, когда запорхали первые снежинки, Лосевы перешли из кособокой избушки в новый дом. На желтоватых брёвнах висели янтарные капли смолы, и по всему дому растекался крепкий весёлый запах, какой бывает в сосновом бору в летний полдень.

За чёрными окнами посвистывал ветер, скрипела берёза, а в доме Ефима Лосева жарко топила печь, и дед Филипп, сидя с внуками у огня, говорил:

— Ишь ты, как разыгрался огоньюшко. Словно зверюшка, с сучка на сучок прыгает... и хитрющий! Гляди и гляди за ним. Так и норовит из своей клетки выскочить. А уж как вырвется, то и пошёл чесать — всю деревню проглотит в один мент.

Дети напряжённо смотрели на огонь и видели косматые лапы, обхватившие полено, и красновато-дымчатый, как у белки, пушистый хвост, слышали, как с треском зверюшка-огонь разгрызал дрова, и пытались представить себе, как он будет глотать деревню.

— Он же подавится, — сказала самая маленькая — Ольгушка, вспомнив кошку, которая подавилась костью от рыбы.

— Он, брат, не подавится... Злющий зверь! — Дед швырнул полено в печь и строго сказал: — Больше не дам, не проси!

Ефим прибывал к порогу подкову, чтобы счастье никогда не покинуло его новый дом. Антонина месила тесто, погружая по локоть руки в дежу. Всё радовало Ефима: и кисловатый запах теста, и сильные руки жены, с которых ещё не сошёл летний загар, и сытые, здоровые лица ребятишек, и сверчок, неумолчно звеневший за печью. В этот тихий час домашнего покоя война казалась особенно далёкой.

Ефим спокойно постукивал молотком, зажав в губах гвозди, когда вдруг послышалось громкое урчание, будто отдалённый раскат грома, дом задрожал, и с потолка посыпался песок, потом грохнуло так, что качнулась висячая лампа и остановились ходики.

Ефим выбежал в сени с молотком в руках, с зажатыми в губах гвоздями. В щели бил пронзительный непривычно белый свет. Над деревней висела неестественно близкая луна, заливая всё вокруг мёртвым белым светом. Медленно опускаясь, она горела и плавилась, от неё отрывались крупные капли, и

будто от этих огненных капель вспыхнула крыша соседнего дома.

— Пожар!— закричал Ефим, вбегая в дом, но от нового удара погасла лампа, он наткнулся на что-то и упал.

Кричали дети. Ефим в полумраке схватил что-то тёплое, мягкое и понёс уговаривая:

— Не плачь, Ольгушка... Не бойся, доченька...

Улица была ярко освещена, и по ней между двумя рядами горящих домов бежала женщина с распущенными волосами, с коромыслом, и дико кричала:

— Нью-ура-а!! Нью-уур-ра-а!!

«Чего это она «ура» кричит... и с коромыслом?» — недоуменно подумал Ефим и только теперь заметил, что держит в руках овчинный тулуп. С криком: «Ольгушка! Ольгушка!» — он бросился в дом, не видя, но уже не сомневаясь, что горит и его новая соломенная крыша.

Рассвет застал Лосевых на голой промёрзшей земле. Антонина, сняв с себя кофту, укутывала Ольгушку. Обожжённые руки её были по локоть в тесте. Ефим раскапывал палкой угли на пепелище, что-то разыскивая. Дед Филипп сидел в армяке, вытянув над углями посиневшие руки.

От изб остались одни задымленные трубы и печи,— всё, что было несгораемого в домах, и печи эти — широкие, пёстрые от пятен копоти, с длинными пегими шеями труб — казались какими-то допотопными чудовищами,— целое стадо этих чудовищ лежало среди чёрных скрюченных деревьев, а к небу поднималось их дыхание — смрад и дым. Словно торопясь скрыть человеческое горе, повалил снег. Но снежинки таяли, прикасаясь к обугленным брёвнам, и чёрное пепелище на фоне яркого первого снега ещё сильнее кричало о несчастьи людей.

— Жили по-человечьи, теперь будем жить по-

овечьи,— с угрюмой улыбкой сказал дед Филипп и тронул за плечо стоявшего в оцепенении Ефима.— Землянку надо рыть. Оно хоть в земле, да в тепле.

Отыскав кусок обгоревшей железной лопаты, он принялся копать яму на том месте, где вчера стоял новый дом,— земля здесь прогрелась глубоко, была мягкая, как летом. Яму обложили соломой, принесённой с поля, и спрятали в неё детей. Пока дед с Ефимом складывали в яме печурку из растрескавшихся кирпичей, Антонина затопила уцелевшую от огня печь, чтобы сварить обед. Из пегой трубы показался дым, и страшно было видеть эту печь, обогревающую необъятный мир.

Спустя некоторое время через деревню потянулись войска, они шли весь день, и, казалось, не было им конца. Вскоре издали докатились удары железного грома, потом гром стал ближе и уже не смолкал ни на минуту. И, поняв, что ни сотни вёрст, ни топи, ни лесные чащи не могли остановить войну, сказал Ефим:

— Надо бы нам было стены по всей границе ставить... вот как!

Дед усмехнулся, покачал седой головою:

— Такой вот умник вроде тебя вздумал однажды порядки наводить на земле... Видит: стоит город, открытый со всех сторон, ни стен вокруг, ни заборов. Он и говорит начальнику города: «Почему стены не ставишь? Враг придёт — город твой завоюет». А начальник отвечает: «Ты — слепой человек, ты не видишь, какая крепкая стена стоит округ города». Умный протёр глаза и опять говорит: «Не вижу я никакой стены, чтоб из кирпичей была сложена». А начальник ему отвечает: «Та стена не защита, ежели из кирпичей сложена, а у моего города стена покрепче будет: огражден мой город людьми!»

Они ещё долго в ту ночь вели беседу, а наутро Ефим сложил в котомку сухари, простился

с семейными и пошёл туда, где гремел железный гром и полыхала красная молния.

Семья Лосевых осталась жить в яме.

— Пропадём мы,— с тоской сказала Антонина, лежавшая в лихорадке.

— Как-никак, исхитриться надо, авось, не пропадём,— ответил дед.

В деревню неожиданно, откуда-то сбоку, нагрянули немцы. Они кричали, размахивая оружием, а дед, прислушиваясь к диким их голосам, твердил одно:

— С нас нечего взять. Мы голые как есть... В земле живём!

Немец в летней гимнастёрке снял с деда армяк, оставив его в драном зипуне, и крикнул:

— Гав аб!!—что по-русски означало «катись».

Немцы вытащили из ямы Антонину и детей.

— Гав аб! Гав аб!!—орали они, указывая на темневший вдали лес.

Взяв за руки внуков, дед повёл их к лесу, а за детьми поплелась Антонина.

В лес пришли к вечеру. Дед вынул из-под зипуна топор, весело подмигнул детям.

— Обманул врага. Вот тебе и гав-гав!—передразнил он немцев, и дети рассмеялись.

Дед отыскал старую медвежью берлогу под огромным еловым выворотнем, нарубил еловых ветвей, устал ими дно, и дети с матерью полезли в берлогу, полную запахов моха и псины.

— Ну, ведмежатки, крепче жмитесь к мамке. Теплей будет вам и ей,—сказал дед, а сам отправился в поиски огня.

Он нашёл берёзовое сухое полено, заострил палочку и стал сверлить полено этой палочкой, вращая её между ладонями, как веретено.

Уже стемнело, а дед всё сверлил, ни на минуту не прекращая работы. И вдруг во мраке под ладонями старика вспыхнула искра. Филипп осто-

рожно раздувал огонь, согревая его своим дыханием, ласково приговаривая:

— Ну, ешь, ешь, брат. Набирайся силушки...

Огонь окреп, повеселел, высунул свой озорной язычок, лизнул листья, схватил лапками рыжую хвойную веточку, вцепился в неё, и запахло вокруг вкусным можжевёловым дымком. И на этот слабый огонёк собрались вскоре люди, изгнанные из землянок в лес, полураздетые, сгорбленные, как бы обугленные.

Они сидели вокруг разгоравшегося костра и слушали, что рассказывал дед:

— Ну, задумал, стало быть, бог выгнать Адама из рая и говорит ему: «Бери с собой чего хошь из моего райского богатства». А кругом навалено, стало быть, золота, серебра, брульянтов... мануфактуры всякой, обужи-одежи... Вот Ева и говорит Адаму: «Бери, говорит, поболее золота да брульянтов». А он, Адам, только и взял, что маленький горячий уголёк. Бог и говорит ему: «Чудно мне, Адам! Ни золота ты не взял, ни брульянтов, только один горячий уголёк». Адам и говорит ему: «Был бы огоньшка, а с ним я не пропаду. С этим угольком я себе опять рай устрою...»

Дед засмеялся, и все улыбнулись и оживлённо заговорили, одобряя Адама. А костёр разгорался, и тьма вокруг раздвинулась, уступая силе огня.

З А Я Ц

Фомушку называли в деревне «Зайцем», давно забыв его настоящее имя. Он жил отчуждённо, избегая людей, и круглый год бродил по лесам с ружьём и рыжей «Грозой».

Громкая эта кличка мало соответствовала мирному характеру пса, который к тому же обладал

слабеньким хриплым голосом. Однако Фомушка был убеждён, что таких собак нет больше в мире. Гроза искусно выслеживала тетеревиные выводки, быстро распутывала самые хитрые заячьи петли и часто ловила косоглазого живьём. Помогая на охоте, собака кормила большую семью Фомушки, и её берегли так, как берегут хорошую, удойную корову.

Когда в деревню ворвались немецкие танки, Гроза выбежала на улицу, обеспокоенная необычным рёвом и грохотом. Она никогда не видела таких зверей и решила подойти к ним поближе, обнюхать и навсегда запомнить их запах, как запомнила она запах зайца, тетерева, лисицы. Она подбежала к танку и потянула носом воздух, пропитанный бензином. Но невиданный зверь вдруг прыгнул на неё и накрыл её широкими гремящими лапами.

Фомушка нашёл потом на дороге лишь мокрое пятно да клочок рыжей шерсти. Он поднял этот клочок, повертел в руках и бросил, а ветер подхватил то, что осталось от Грозы, и унёс в поле.

Ночью жители деревни уходили в леса, унося с собой мешки с добром и детей.

— Пойдём, Фомушка, с нами,— говорили соседи, жалея его детей.— Пропадёшь тут.

— Как-нибудь проживу. У меня взять нечего. Одна была собака, да и той не стало,— ответил Фомушка и остался в деревне. Он спрятал под полом всё, что было ценного: мешок муки, шубы, заячьи шапки, валенки, напялил на себя рваненький полушубок, а детишкам велел сидеть в одних рубашонках. Старенький дробовичок он зарыл в сено и, оглядев свою пустую избёнку, остался доволен её убогим видом.

Сидя у окошка, Фомушка размышлял: «Жить надо хитро, как заяц живёт. Он на рожон не лезет, понимает, что плетью обуха не перешибёшь. Чуть что — собака или лиса заявится — он сейчас под ку-

стик, прижмётся, его и не видать. И не то чтоб в самую глухмень куда заберётся, а прямо рядом с дорогой и лежит. Меня, мол, в чащобе искать станут, а я тут, у дороги самой, и лягу... Вот какая у него тонкая политика! И так напетляет за ночь что ходишь-ходишь вокруг него, а не найти... А уж ежели и наткнётся ненароком собака, тогда давай бог ноги! Такие начнёт вензеля чертить, что иной раз целый день за ним гоняешься, собака в кровь все лапы собьёт, а его и след простыл... И нет у зайца такого правила, чтоб стадом жить. Он всегда один, сам по себе, своей головой живёт, под своим кустиком. Летом у него спинка рыженькая — под цвет подсохшей травы, а зимой надевает он белую шерстку, — поди, найди его на снегу... Медведь — тот напролом прёт, силушкой своей хвататься любит, зато и медведей теперь вовсе не стало, в зверинцах только и увидишь. А зайцев, как в прежние времена, тьма-тьмущая...»

И когда Фомушка так раздумался, душа его успокоилась. А на другой день пришли к Фомушке немцы, взломали пол и вытащили всё добро: и шубы, и валенки, и муку, и даже котёл с варёной зайчиной.

А тут, как назло, выпала первая пороша. Фомушка тоскливо смотрел на белую, нарядную землю, и голодные дети жались к нему, упрашивая принести зайчика. И Фомушка не выдержал. Он откопал из-под сена ружьё и перед рассветом ушёл в лес.

Фомушка легко читал на снегу записи, сделанные птицами и зверями: крестики птичьих лапок, строгую машинную строчку лисьего осторожного следа, сложные петли беляка. Заячий след вывел его на опушку.

Фомушка увидел вдали одинокий кустик и направился к нему. По всем приметам заяц лежал именно

под этим кустиком. Вдруг прозвучал выстрел, но не раскатистый и гулкий, как из охотничьего ружья, а резкий, сухой, и мимо с визгом пролетела пуля. От деревни к лесу бежали два немецких солдата с собакой.

Фомушка спрятался в лес. Он услышал ещё выстрелы и злой собачий лай. Отбежав немного в чащу, пошёл шагом. Вокруг было множество заячьих следов, но Фомушка уже не обращал на них внимания.

«Партизанов ищут»,—подумал он и, хотя не имел к ним никакого отношения, почувствовал страх и прибавил шагу. Собачий лай становился всё ближе, громче.

«По моим следам идут»,—сообразил Фомушка и невольно побежал, стараясь уйти от собаки. Он видел её вчера у немцев. Она была похожа на волка, с острыми стоячими ушами и крупными зубами в злобной пасти. Жёлтые янтарные глаза её горели не тем весёлым азартом, с каким Гроза гоняла зайцев и лис, а какой-то неумёмной яростью, и Фомушка понял, что собака эта обучена преследовать не зверя, а человека.

Фомушка бежал, подстёгиваемый всё нарастающим страхом. Перехватывало дыхание; из-под шапки выбились мокрые волосы; сумка, в которой лежали патроны и кусок хлеба, била по бедру; ружьё, закинутое за спину, цеплялось за сучья. И как на грех, в левом сапоге подвернулась портянка, натирала ногу, но остановиться нельзя было, и Фомушка продолжал бежать, прихрамывая.

Сперва он бежал безотчётно, по какой-то прямой, повинувшись лишь страху, гнавшему его вперёд, подальше от собачьего лая. Но скоро он устал,—впервые на старости лет пришлось бежать так быстро, безостановочно,—собачий лай не умолкал, лишь иногда немного отдалялся, но затем снова раздавался

совсем рядом, даже слышался треск сучьев, Фомушка надеялся, что немцы тоже устанут и тогда он переведёт дух и поправит по крайней мере портянку.

Но немцы видели, что следы бегущего от них человека становятся неуверенными, неровными,— вот здесь он поскользнулся и чуть не упал, а там наткнулся на ель... Ещё дальше они нашли шапку из вытертого заячьего меха, подкладка была мокрая от пота и ещё тёплая; собака с рычанием рванула поводок, за который держал её немец.

Фомушка бежал, широко открыв рот, судорожно глотая холодный воздух сухим, воспалённым горлом. «Куда же это я бегу?— растерянно думал он, уже не узнавая местности.— Зайцы от собаки кругами уходят... След надо путать... Петлями, петлями...»

Он сделал прыжок в сторону, потом повернул вправо, пробежал шагов сто, кинулся влево и опять вправо... Собачий лай сразу стал глуше, и Фомушка вернулся на свой след, пробежал по нему в обратном направлении, снова сделал петлю и, наткнувшись на лесную тропинку, побежал по ней, зная, что она ведёт к лисьим норам, в глухой овраг, заросший орешником, крушиной, бересклетом.

Собачий лай доносился теперь издалека, и Фомушка решил поправить портянку. Он упал на землю и с минуту лежал, трудно дыша. Никогда не испытывал он такого блаженства и такого ужаса, как в эту минуту. Земля плыла куда-то, уносила его, и Фомушке казалось, что он летит на белом ковре-самолёте, как в сказке, а в то же время он сознавал, что лежит неподвижно на снегу и смерть парит над ним.

Внезапно разъярённый лай раздался почти рядом. Фомушка скинул сапоги и, не успев размотать портянки, бросился вперед по тропинке.

Немцы нашли сапоги. Они были ещё крепкие, с новыми подмётками. Каждому хотелось завладеть ими. Солдаты заспорили. Собака рвалась вперёд по следам, от которых шёл густой человеческий запах, но солдаты держали её на поводке и яростно спорили. Собака рычала, оскалив острые клыки, высунув красный в пене язык, а солдаты вырывали друг у друга сапоги и кричали.

Фомушка бежал босой, оглохший от страха. Он свернул с тропинки в чащу, обдирая лицо о колючую хвою. Кто-то сильный схватил его сзади и придержал. Фомушка вскрикнул, рванулся и упал. Оказалось, что ремешки от сумки захлестнулись за берёзовый сук. Фомушка сбросил с себя сумку и побежал. Его настигал собачий лай.

Фомушка был весь мокрый, и казалось, что сердце не выдержит и разорвётся. Он сбросил полушубок и остался в розовой ситцевой рубашке и в домотканых пёстрых штанах. Ружьё он держал в руке, но чувствовал, что оно тянет его к земле.

«Сейчас свалюсь»,— подумал он и уже видел впереди тот пенёк, о который должен был споткнуться, но, когда пенёк оказался под самыми ногами, Фомушка резво подпрыгнул и помчался дальше, удивляясь, откуда бралась сила!

Теперь он не испытывал страха. Может быть, и заяц в последний миг своей жизни не чувствует ничего, кроме желания жить, и думает лишь о том, чтобы быстрее, быстрее перебирать ногами,— в этом ведь спасение! И Фомушка прыгал, подскакивал, перевёртывался, взмахивая руками, как крыльями,— растрёпанный, взъерошенный, похожий на подбитую птицу.

Он миновал овраг, заросший орешником, и побежал дальше. Только теперь он осознал, что его неудержимо несёт в урочище Дербень,— туда, где жили партизаны. «По моим следам найдут их»,— подумал он и метнулся в другую сторону, туда, где

протекала быстроводная Сясь. Он прыгнул с берега в ледяные волны, и река скрыла его следы.

Теперь он брёл по реке, черпая пригоршнями воду, но дрожащая его рука расплёскивала воду, не донося до опалённых жаждой губ. Перебравшись на другой берег, он упал на землю с одним желанием — умереть. Но руки сами собою уцепились за куст и подтянули измученное тело к яме. Фомушка вполз в неё, как вползает в нору смертельно раненый зверь.

Он лежал и плакал. Болели ноги, ломило грудь, спину, затылок... В тёмной синеве неба вспыхивали звёзды. Где-то далеко подвывала волчица. И вдруг Фомушка почувствовал особенную, незнакомую боль: она шла изнутри, из той глубины существа, где, по представлению Фомушки, находилась душа. Это была горькая боль унижения, из которой уже выросло в сознании что-то большое, решающее.

«Нету такого закону, чтоб человека собаками травить, со зверем его равнять...»

Обида душила Фомушку, и слёзы, рождённые перед тем жалостью к самому себе, ощущением своей незащитности, высохли. Он был один в глухом лесу, измученный, загнанный, раздетый, униженный. Остыв, он начал дрожать, но и озноб был какой-то внутренний, исходил от закипавшей в нём злобы, от обиды, от стыда за себя и... от гнева на врага.

Он встал и пошёл к урочищу Дербень.

...Утром Фомушка явился в партизанский лагерь. Сбежались люди, увидев раздетого человека с ружьём. Кто-то набросил на него полушубок, и Фомушка, взглянув помутневшими глазами на сердобольного, узнал в нём соседа по улице. Фомушка взволнованно принялся бормотать что-то. Слов нельзя было разобрать, но люди поняли его: он жил, как заяц, а теперь хотел жить, как человек.

ПОБЕДА

В берёзовой роще, на обрывистом берегу реки белел дом с колоннами у подъезда, круглым куполом и часами, стрелки которых были похожи на старинные пики. На этих стрелках, показывавших всегда четверть десятого, обычно усаживались голуби.

Обитатели белого дома не нуждались в часах,— время застыло для них в тишине ничем не нарушимого покоя. Здесь доживали свой век престарелые одинокие люди, для которых этот дом был последним в их жизни.

Заведующий домом доктор Поленов окружил их заботой и лаской, снова возвратил их к жизни, которая казалась потерянной. Старики не чувствовали своей беспомощности и дряхлости. Зрячие рассказывали слепым всё, что видели вокруг, читали им книги и газеты. Имеющие руки и ноги помогали передвигаться хромым. Безногие плели корзины, делали щётки и веники. Немые разговаривали на беззвучном языке жестов и смеялись. Слепые усердно дули в медные трубы и флейты, исполняя разные вальсы, и старики вспоминали свою молодость, любимых женщин, с которыми танцевали эти медленные, грустные вальсы.

Старики не думали о смерти. Они дышали живительным воздухом берёзовой рощи, удили рыбу на реке, собирали ягоды и грибы, грелись на солнце, любуясь ласковым небом.

В полдень сторож звонил в колокол, висевший на дереве, и старики шли обедать. Они ели мясо, пили молоко от своих коров, заедали яблоками из своего сада, а доктор, похаживая между столами, спрашивал:

— Ну, как? Не голодны?

Близорукие добрые глаза его улыбались из-под старомодного пенсне с золотой дугой над перенось-

цей и шёлковым шнурком. Доктора Поленова не раз пытались перевести в городскую клинику, предлагали должность директора, но он продолжал работать в доме и никуда не хотел уезжать, может быть, потому, что в этом доме он родился и вырос, здесь каждое дерево было частью его жизни. Здесь, в тишине маленького флигеля, стоявшего в саду, он дописывал свой научный труд «Преодоление старости». Эта книга была итогом его сорокалетней врачебной практики. Отдельные главы её печатались в медицинских журналах и обратили на себя внимание иностранных учёных.

...В морозный зимний день, когда старики грелись у жарко натопленных печей, в усадьбу ворвались немцы.

— Что здесь такое?— спросил офицер, бегло осматривая комнаты.

— Дом для престарелых труженников,— ответил по-немецки доктор.

— А вы кто?

— Заведующий этим домом, врач.

— Немедленно очистить дом!

— Я не в состоянии это сделать. Где же я размещу сто пятьдесят стариков...

— Меня это не касается,— резко прервал офицер.— Даю полчаса, после чего мои солдаты сумеют куда-нибудь выбросить эту рухлядь,— презрительно сказал он, протягивая к огню посиневшие руки, с кольцами на тонких пальцах.

«Переведу стариков к колхозникам, в Юзовку»,— решил доктор, но, выйдя во двор, увидел широкое пламя, бушевавшее там, где стояла деревня.

Был полдень, и сторож ударил в колокол, возвещающая время обеда. Но не успел замереть певучий звон, как немец вскинул автомат и выстрелил в сторожа.

— Что же это... Обедать... Обедать пора,— вы-

крикнул сторож и, падая, дёрнул рукой за верёвку колокола, и колокол прозвучал ещё раз.

Услышав привычный звон, инвалиды направились в столовую. Зрячие вели под руки слепых, скрипели костыли, шарниры протезов, пели колёса кресел-самокатов.

— Цюрюк!!— заорал немец, стоявший в дверях столовой с винтовкой.

Инвалиды испуганно остановились, но глухой клепальщик продолжал идти, и немец ударил его прикладом. Клепальщик был рослый и ещё сильный человек. Он сжал кулаки и бросился на немца. Раздался выстрел в упор. Клепальщик покачнулся и упал.

— Кто это так хлопает дверью?— спросил слепой.

— Это смерть,— ответил кто-то.

— Уходите отсюда скорей, товарищи!— крикнул доктор, появляясь у входа.— В конюшню идите... Только оденьтесь потеплей.

Старики надели шубы, валенки, тёплые варежки из шерсти от своих овец, но офицер приказал снять всю тёплую одежду.

— Они же замёрзнут!— воскликнул доктор, снимая с себя собачью доху.

— Тем лучше.

Доктор набросил свою доху на самого слабого и повёл стариков. Они вышли на мороз в рубашках, в лёгких пиджаках, без шапок, и снег скорбно визжал под костылями калек. Всё, что немцы позволили взять с собой, это — музыкальные инструменты. Слепые бережно несли блестящие трубы, прижав к телу, как бы согревая их своим теплом.

Инвалиды наносили в конюшню соломы и сена, сняли с лошадей попоны и улеглись, тесно прижавшись друг к другу. Они лежали молча. Сильней всех страдал доктор, чувствуя бессилие своё чем-либо облегчить их страдания.

Немцы кололи свиней широкими штыками, как бы нарочно приспособленными для этой цели. Свиньи пронзительно визжали, вырвавшись из-под ножа, металсья по двору, заливая снег дымящеюся кровью, а немцы гонялись за ними, добывая из автоматов. Доктор шагал по конюшне, стараясь согреться, но от этого визга и выстрелов его знобило сильнее, и пенсне съезжало с переносицы.

Вечером его вызвал к себе офицер. Немцы сидели в столовой, поедая жареную свинину. На столах стояло много бутылок.

— Садитесь с нами, герр доктор,— пригласил офицер, видимо, изрядно выпивший,— лицо его было багрового цвета, словно напитано кровью.

— Я должен сначала накормить моих стариков,— ответил доктор, протирая дрожащими руками запотевшие стёкла очков.

— А вы разве не знаете, как их накормить, чтобы они наелись раз и навсегда?— офицер рассмехался, и все немцы громко захохотали.

— Нет,— сказал доктор, он был так подавлен запахом жареного мяса, что до него не дошёл страшный смысл сказанного офицером.

— Отравить,— спокойно пояснил офицер, отправляя в рот кусок мяса.— Человечность в данном случае состоит в том, чтобы избавить их от страданий.

Доктор растерянно взглянул на его лоснящееся лицо и молча вышел. Инвалиды лежали неподвижно, безмолвно.

— Нас хотят умертвить,— тихо сказал доктор.— Обсудим наше положение.

В наступившей тишине было слышно нежное воркование голубей, сидевших на слегах, насланных под крышей. Мерно жевала сено одноглазая водовозная кляча Незабудка!

— Мы хотим жить,— слышался слабый голос из вороха соломы.

— Будем жить!— громко сказал доктор, и ему как будто стало теплей.

Он послал самых крепких стариков на огород собирать мёрзлые капустные кочерыжки и ягоды шиповника. Встряхивая солому, обнаружили, что в колосьях ещё много зёрен. Их растирали руками и ссыпали в кучу. Принесли куски снега, пропитанные свиной кровью. Из всех этих «продуктов» кухонный шеф сварил суп в банном котле.

— Суп из витаминов,— шутил доктор, раздавая пищу в консервных банках.

Старики очень страдали от холода. Время от времени доктор поднимал их и заставлял двигаться, кто как мог.

— Быстрее! Энергичней размахивайте руками. Приседайте! Кто не может — нагибайтесь... В движении — жизнь!— командовал он, стараясь придать своему голосу бодрый тон.

— А ну, «полечку»! Повеселей!

Слепые дули в медные холодные трубы, отдавая им остатки тепла, и трубы простуженно ревели.

Немцы сбегались к конюшне и удивлённо таращили глаза.

Ночью мороз усилился... Первым заоченел кузнец. Его отнесли в баню, но тепло уже было ему не нужно.

А доктор всё шагал по конюшне, напрягая свою фантазию, чтобы сыскать оружие против смерти, которая перешагнула порог их жилища.

Проходя мимо лошади, он ощутил тепло её дыхания,— оно вылетало из ноздрей белым фонтанчиком пара. Теплом веяло и от густой зимней шерсти животного.

— Идея!— обрадованно воскликнул доктор.— Использовать тепло!

Он уложил лошадь, а вокруг неё вплотную самых немощных из инвалидов.

— Это наше центральное отопление,— посмеивался он, довольный своей выдумкой.

И лошадь, словно понимая, что теперь она выполняет обязанность более важную, чем подвозка воды, лежала покорно, обогревая своим тёплым телом коченеющих людей.

Тем временем старый печник натаскал кирпичей и смастерил печку. Она весело затрещала, пламя, как солнце, разогнало полумрак, и холод отступил к воротам.

Через несколько дней немцы разрушили печь, выгнали на улицу лошадь и пристрелили её. Печник снова принялся возводить печь. А ночью доктор нарезал мёрзлой конины и роздал каждому по кусточку.

— Сырое мясо очень полезно,— утешал он стариков, которые с трудом жевали эту пищу.

Каждое утро несколько человек относили «в баню». Смолк оркестр. Доктор еле передвигал ноги. Казалось, всё было испробовано для того, чтобы поддержать угасающую жизнь стариков. Оставалось умереть.

Доктор сидел, опустив голову. Он вдруг услышал воркование голубей и встрепенулся. Ему припомнилось, что температура тела птиц выше, чем у человека. Чтобы вызвать к жизни зародыш в яйце, его нужно согреть при 37 с половиной градусах тепла.. Голуби — вот источник жизни!

Доктор собрал в кормушке остатки овса и насыпал зёрна на земле, а сверху поставил корзину для сена на колышке. Привязав к корзине верёвку, доктор спрятался в тёмный угол и стал ждать.

Скоро голуби начали слетать с настила к корзине и клевать овёс. Когда их набралось много, доктор дёрнул верёвку, и корзина накрыла голубей.

— Это вам вместо грелок. Сажайте их за пазуху,— говорил доктор, раздавая голубей.

Однажды недалеко послышались частые выстрелы. Немцы поспешно покинули усадьбу, а двое оставшихся солдат заперли ворота конюшни, облили керосином её и подожгли.

Когда красноармейцы вбежали во двор усадьбы, из горящей конюшни донеслись к ним звуки «Интернационала». Красноармейцы распахнули ворота, и из конюшни, охваченной пламенем, вышли слепые.

За роцей ещё трещали выстрелы, а по двору, освещённому пламенем пожара, под звуки труб шагали хромые, безрукие, слепые, горбатые,— катились кресла-самокаты, весело скрипел снег под костылями. Инвалиды шли в свой тёплый дом.

— Теперь можно расстаться с грелками,— сказал доктор, и перед изумлёнными бойцами в воздух шумно взлетели голуби.

Они кружились стаяй, трепеща крыльями. Ослепшие от яркого света и радуясь ему, они поднимались всё выше и выше, широкими кругами.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Шёл жестокий затяжной бой на высоте «Круглой». Оборонявшая её рота лейтенанта Хомякова таяла с каждым часом. Вся земля была изрыта, распахана, вздыблена, и непонятно было, каким чудом держались на ней люди.

Наступила третья ночь обороны. От одной ямы к другой переходил Хомяков с подвязанной рукой, ободряя людей.

— Где Тихон Кривцов?— спросил он, вглядываясь в темноту.

— Здесь, товарищ лейтенант,— ответил сиплый, но бодрый голос.

— Пойдёмте со мной.

Спустившись по скату к разбитой снарядом сосне, где был командный пункт, Хомяков сказал:

— Товарищ Кривцов, вы должны доставить командиру полка вот эту записку. Помните, что от этого зависит жизнь всех нас... Пробирайтесь по болоту. Это трудно, но там вы скорей пробьётесь. Надеюсь на вас, товарищ Кривцов. Желаю успеха.

Хомяков протянул левую руку, и Кривцов сжал её горячими пальцами. «У него, верно, повышенная температура»,— подумал лейтенант и хотел спросить об этом Кривцова, но тот мгновенно и бесшумно исчез.

«Он всё равно не признался бы»,— сказал себе лейтенант. Он стоял и смотрел в ту сторону, где кричали лягушки,— туда, к болоту, ушёл Кривцов.

Лягушки кричали иступлённо, как кричат они в тёплые весенние ночи, и ничто не могло остановить их любовную песню—ни взрывы снарядов, ни треск пулемётов, ни ослепительное сияние ракет; они трубили в какие-то гулкие стеклянные трубы, кричтели, сердито ворчали, бултыхались, плескались, шипели, перекликаясь томными, утробными голосами.

Кривцов притаился за кустом ивняка. На высоте ему каждую минуту угрожала смерть. Но там были люди, и Кривцов, лёжа с товарищами в яме под градом осколков, чувствуя их дыхание, не испытывал страха. Теперь он был один, и ему было страшно.

От болота тянуло сыростью, запахом осоки и аира—запахом родной деревни, затерянной среди болот Белоруссии,—мягкие, сочные, пахучие кончики стеблей аира были первым детским лакомством. Сняв штанишки, Кривцов любил бродить по болотам в жаркий весенний полдень. Он выдёргивал пучок аира. Стебель вытаскивался со скрипом. Кривцов очищал его и, зажмурившись от наслаждения, откусывал белый нежный кончик. А кругом, над водой, стояли голоногие цапли, и сам Кривцов был похож на

цаплю: ножки у него были тонкие и такие же грязно-серые...

И, вспомнив всё это, Кривцов принялся снимать сапоги. Он привязал их за спиной, спрятал записку в пилотку, сунул пилотку за пазуху и пополз.

С каждым шагом земля становилась мягче, сырей, потом руки погрузились в воду. Кривцов припал к воде губами и долго пил что-то чёрное, пахнущее тиной, густое, как сусло. Было приятно держать горячие руки в воде,— они горели, словно обожжённые, и пылало лицо, как утром, когда начало ломить в висках и затылке.

Вода не освежила его. «Заболел, что ли»,— подумал Кривцов, прижимаясь к осоке, потому что вокруг стало светло, как днём, от ракеты, взвившейся над болотом. Потом всё покрыл непроглядный мрак, и лягушки закричали громче, будто обрадовавшись темноте. Кривцов поднялся и пошёл по болоту, осторожно вытаскивая ноги. Они погружались до колен, и болото пыхтело, булькало, вздыхало, мягко колыхаясь под ногами.

Коротка июньская ночь. Не успела померкнуть светлая полоска неба на западе, а на востоке уже смутно наметилась белёсая щель горизонта, и оттуда повеяло холодом. Кривцов вздрогнул от внезапного озноба, охватившего тело до кончиков пальцев на ногах,— было такое ощущение, точно он ступал по льду.

«Лихорадка»,— подумал он, стискивая зубы. Впереди зачернели кусты. Кривцов услышал резкие голоса.

«Надо взять левой»,— решил он, но и слева слышался шум и тот характерный лягз, с которым закрывают затвор орудия. Тотчас же багровая вспышка осветила кусты, грохнул выстрел, и куст покачнулся, словно от ветра.

Кривцов повернул голову вправо,— там было тихо.

Он пошёл в ту сторону, погружаясь всё глубже, подняв над головой винтовку и сумку с гранатами,— патроны он спрятал в сапоги, что торчали у него за плечами.

Попалась кочка с остатками корней дерева,— это было добрым признаком — болото кончалось. Кривцов вылез на пригорок и побежал, не спуская глаз с зеленоватой полоски на горизонте. Под ногами была пашня, мягкая земля согревала ноги, заглушала шум шагов, и Кривцов доверчиво ступал по ней, чувствуя во всём теле необычайную лёгкость, словно оно вдруг стало невесомым,— вот так бывает во сне, когда перелетаешь, как птица, через пропасти и овраги.

Быстро рассветало. Вдали, посредине поля, виднелся куст. Справа поднималась насыпь шоссе. До куста оставалось шагов двести, как вдруг справа раздался сердитый окрик. Кривцов побежал изо всех сил. Оглянувшись, он увидел, что от шоссе, наперез ему, бегут три немца, а двое гонятся следом. И по тому, что выстрелов не было, Кривцов понял, что его хотят захватить живым.

Он с разбега прыгнул в куст и провалился в яму. С писком вылетела какая-то птичка. Яма была глубокая. Кривцов стал на колено лицом к лесу и просунул сквозь куст винтовку. Три немца, отрезавшие ему путь к лесу, стояли поодаль друг от друга, видимо, выжидая, когда русский выскочит из куста. Кривцов быстро повернулся в ту сторону, откуда бежали догонявшие его солдаты, положил винтовку на край ямы и прицелился в бежавшего первым. Он видел его красное лицо, широко открытый рот и грязно-жёлтые сапоги.

Мушка пришлась под грудь. «Как на стрельбище»,— подумал Кривцов и выстрелил. Немец продолжал бежать, но рот открылся ещё шире. Кривцов впервые видел немца так близко и удивился, что

враг, который раньше представлялся ему чем-то необыкновенным и страшным, оказался щуплым малорослым человечком. И этот человечек в больших рыжих сапогах вдруг схватился рукой за грудь, уронил винтовку и закричал что-то тоненьким голосом, как кричат раненые зайцы; потом он остановился, раскинул руки и рухнул лицом в пашню.

«Неужели я убил?»— удивился Кривцов, он ни разу ещё не видел, как от его пули умирал враг, стрелять приходилось на большом расстоянии, одновременно стреляли другие, и невозможно было установить, кто же убил.

Теперь он видел лежавшего ничком немца, неподвижного, странно вытянувшего вперёд руки,— это был его немец. Кривцов проникся уважением к себе и винтовке, которая раньше казалась ему бесильной.

Второй немец, увидев, что его товарищ убит, распластался на земле, втиснул голову в пашню. Он был огромного роста, жирный, ягодицы его возвышались над туловищем как футбольные мячи, и Кривцову стало смешно, что такой большой человечнице прячется за комочек земли. Но в этот момент позади, возле леса, треснул выстрел, и на колени Кривцову упала веточка, срезанная пулей.

Он надел пилотку, а каску положил на левый борт ямы, метров на пять от себя, и тотчас по каске звякнула пуля. Кривцов переложил её правее, а сам повернулся в ту сторону, где лежал за кочкою рослый немец. Тот поспешно окапывался, суматошно работая лопаткой, поднимая пыль. На один миг его голова приподнялась над землёй, и Кривцов выстрелил в темный шар каски. Немец, выронив лопатку, пополз, смешно вскидывая жирный зад и хватаясь за него рукой.

«Вон куда я ему угодил»,— догадался Кривцов. Озорная усмешка осветила его грязное, вымазанное

болотной тиной лицо. «Вот поглядели бы ребята, умора!» Кривцов выстрелил ещё раз, но в радостном возбуждении рванул за спуск, пуля взбила пыль вправо от уползающего немца.

«Так не годится»,— подумал Кривцов и только прицелился было вновь, как что-то ударило его по голове сзади и сорвало пилотку. Кривцов ощупал голову. В глазах поплыли разноцветные круги, похожие на те радужные мыльные пузыри, какие он пускал через соломинку в детстве. Но пузыри полопались, в глазах посветлело, и Кривцов увидел берёзовый сук, воткнувшийся в пилотку. Звеня, скапала в яму каска. Кривцов водворил её на прежнее место, а сам, сидя на дне ямы, ещё раз ощупал себя. И только тут сообразил, что сапоги попрежнему торчат за спиной, и голенища, как самоварные трубы, высовываются из ямы.

Он отвязал сапоги. В одном голенище было две дырочки. Кривцов покраснел от смущения, словно кто-то мог видеть его оплошность. А пули всё щёлкали по листве, и листья падали в яму,— три немца, спрятавшись за бугорки, вели непрерывный огонь.

И торопясь исправить свою ошибку, Кривцов начал стрелять по бугоркам. Он выпустил две обоймы, и когда полез в сапог за патронами, нашёл там одну последнюю обойму.

Он закладывал её в затвор, а в мозгу стояло: «Последняя... последняя», и пальцы сделались какими-то негибкими, неловкими,— обойма не входила в паз. А тут замлела нога, он повернулся, чтобы высвободить её, привстал и тотчас же грузно осел в яму, будто кто-то с силой толкнул его в правое плечо. Пальцы правой руки разжались, и винтовка сползла на землю.

Кривцов видел, как быстро темнел рукав гимнастёрки, жестокая боль сковала всё тело, рука обмякла, словно из неё вынули кости.

Он растерянно огляделся и увидел на земле, под кустом, маленькое гнёздышко, аккуратно сплетённое из сухих травинок, и трёх большеротых птенцов, прижавшихся друг к другу. И он вспомнил о крохотной птичке, вылетевшей из куста в тот момент, когда он провалился в яму. Птенцы часто открывали непомерно огромные рты, издавая чуть слышный писк.

«Вот и я вроде этих птенцов»,— с горечью подумал Кривцов, оглядывая яму, усыпанную сбитыми листьями, веточками, стреляными гильзами,— похожую на гнездо. Слабость всё сильнее обволакивала его тело. Он испуганно зажал рукой рану.

Выстрелы прекратились, и Кривцов услышал отдалённые взрывы,— это рвались снаряды на высоте «Круглой». Он ясно представил себе изрытую землю, товарищей своих, лежащих с последними патронами, лейтенанта Хомякова с перевязанной рукой,— и собственная боль, от которой мутился рассудок, вдруг отступила. Он схватил винтовку и выглянул из куста.

Немцы шагали к яме, видимо, считая, что он убит. Кривцов выстрелил, и один из солдат упал, а другие мгновенно залегли и открыли стрельбу. От сильной отдачи при выстреле правое плечо Кривцова точно вывихнулось, и кровь полилась сильнее. Стрелять он уже не мог.

Он взял гранату и вставил запал, нажав на него большим пальцем правой руки, но от острой боли в плече померкло в глазах. Послышались голоса с той стороны, где находился раненый немец. От шоссе быстро шли ещё три немца, вскинув винтовки.

«Конец теперь»,— подумал Кривцов с тем спокойствием, какое приходит к человеку, когда уже всё ясно до конца.

Немцы приближались. Кривцов видел их лица,

Впереди шагал молодой, лихо выпятив грудь, и Кривцов упорно смотрел на эту грудь, которая становилась всё шире, заслоняя собой остальных солдат. Блеснула начищенная медная пуговица, и, точно это было сигналом, Кривцов вскочил и швырнул гранату левой рукой.

Он не видел, что произошло после взрыва,— он сидел на дне ямы и заряжал вторую гранату, зажав её в коленях.

Он услышал лишь дикий вой, будто у того, кто выл, сверлили череп. И, услышав этот вой, Кривцов почувствовал радость, какая, бывало, в детстве охватывала его, когда он ловким ударом сшибал городки. Стиснув левой рукой гранату, он выскочил из ямы и побежал навстречу двум немцам, преграждавшим путь к лесу. Он бежал и кричал, оглушая самого себя:

— А-а-а... сво-о-очи-и!!

Немцы стали на четвереньки и, забыв винтовки на земле, бросились к лесу. Кривцов гнался за ними и кричал надсадным, хриплым голосом:

— Сво-о-о... сво-о-о...

Бежавший впереди немец вдруг споткнулся, второй налетел на него, и оба они повалились на пашню, барахтаясь, цепляясь руками за землю.

Кривцов остановился, перевёл дыхание и метнул гранату. Ноги подкосились от усталости, Кривцов упал плашмя, ветром взрыва обдало его голову. «Сбросило пилотку, записка там... Не утерять бы»,— думал Кривцов, шаря вокруг себя рукой. Пыль забила ему глаза, лились слёзы, ослепляя его. Всё же он увидел неподалеку пилотку, схватил её; она была вся в крови, и на ней был изображён чёрный жирный паук свастики. Кривцов отшвырнул её, огляделся. Его собственной пилотки нигде не было. В страхе он схватился рукой за голову,— пилотка прочно сидела на затылке...

Кривцов кинулся в лес. С правой, бессильно обвисшей руки его капала кровь, но он не чувствовал боли. От птичьего крика лес звенел, и Кривцову казалось, что у птиц, как и у него, большой, редкий в жизни праздник.

НАХОДКА

Гул артиллерийской стрельбы становился всё слабей и слабей,—тучу войны относило на запад, а протасовцы всё ещё сидели в своих земляных норах, не веря, что наступил, наконец, день, которого они ждали три тяжких месяца.

Было морозное январское утро. В километре на шоссе, где шли войска, пронзительно визжал снег, что-то скрипело и лопалось там, и от этих звуков людям стало ещё холодней в пещерах. Они жались друг к другу, кутаясь в лохмотья, лишь дети нетерпеливо выглядывали сквозь хвойные ветви, которыми был завален вход,—чернолицые от дыма и грязи, со струпьями на провалившихся щеках.

— Идём, что ли!— говорил председатель колхоза Анисим Сергеевич, обходя норы.

Он пошёл впереди, прокладывая тропу по глубокому снегу, проваливаясь выше колен, а за ним медленно — один за другим, как ходят гуси,—потянулись протасовцы, уцелевшие от гибели. И, оглянувшись на повороте в поле, Анисим Сергеевич ужаснулся, увидев, что осталось так мало из трёхсот членов колхоза. Коротенькая цепочка людей казалась особенно жалкой среди пустого огромного поля.

Протасовцы знали, что деревня их сгорела, и всё-таки шли домой с тайной надеждой увидеть свою избу, свой плетень, свой погреб, шли, устремив взор туда, где ещё клубился чёрный дым. И пер-

вое, что бросилось всем в глаза, были ворота, поставленные при въезде в деревню,— высокие, широкие, с новыми столбами из неокорённых сосновых брёвен.

«Зачем немцам понадобились ворота?»— подумал Анисим Сергеевич, не видя хозяйственного смысла в этом новом сооружении, потому что ворота стояли особняком, без изгороди или забора. Тогда он решил, что это — арка, которую немцы построили для встречи своего начальства. Но, с каждым шагом приближаясь к этим новым воротам, Анисим Сергеевич испытывал какое-то беспокойство, хотя за три месяца навиделся таких ужасов, что, казалось, уже ничто не может потрясти этого человека.

— Виселица!— вдруг крикнул шагавший сзади конюх Сёмушка, и все остановились.

Крик Сёмушки вспугнул воронов, сидевших на перекладине. Траурно-чёрные жирные птицы лениво поднялись на широких крыльях и полетели на запад, крича: «Кррро-ви! Кррро-ви!»

И тут все увидели на снегу под виселицей пять трупов, одинаково скорченных, с одинаково завязанными на спине руками. В тишине зимнего утра раздался женский вопль, к нему присоединился другой, заплакали дети. Заведующая фермой Авдотья Ивановна бросилась на грудь своего мужа, которого она узнала по курчавой бородке,— лицо же у него было совсем чужое, искажённое муками.

Доярка Александра Васильевна увидела издали розовую ситцевую рубаху и тут же упала без памяти,— в розовой рубахе был её Ванюшка в тот день, когда немцы ворвались в деревню.

Ничего не было вокруг, кроме дымящихся головешек. Не уцелело ни одного дома, ни одной постройки, даже силосная башня была разрушена. Сёмушка пробрался в неё и обнаружил порядочные запасы силоса.

— Нету нам больше жизни, нету! — повторял он, ударяя себя кулаком в тощую грудь.— Нету, Анисим Сергеич! На голом месте стоим!

Анисим Сергеевич помолчал, подавленный картиной разрушения и смерти. Как ветром смахнуло всё, что создавалось изо дня в день на протяжении десяти лет руками трёхсот человек. Да, он стоял на голом месте. И этот человек с крупными руками, с широкой прочной спиной грузчика, с упрямыми глазами, поник головой, не зная, с чего начать новую жизнь на этой голой земле.

— Как же теперь жить-то, Анисим Сергеич?! Десять племенных маток было... Два жеребца! Нету нам жизни! Нету! Взять бы вожжи да удавиться, чем так мучиться,— жалобно выкрикивал Сёмушка, кружась среди тлеющих головешек и сам похожий на головешку,— от слов его, как от дыма, ело глаза.

— Помолчал бы, что ль... И так в голове мутится,— сердито сказал Анисим Сергеевич.— Удаться всякий дурак сможет, была бы верёвка. А вот ты прожить сумеешь в нашем горьком положении!

Он пошёл торопливо, прихрамывая, ноги его опухли от холода и недоедания. И все смотрели на него с надеждой, ожидая от него каких-то утешающих слов, каких-то действий,— ведь он был председателем колхоза.

Да, нужно было что-то делать... Анисим Сергеевич вспомнил, что, подходя к деревне, видел глубокую воронку от взрыва снаряда, и решил похоронить в ней погибших. Когда их уложили на дно ямы, Анисим Сергеевич снял ушанку и вдруг неожиданно сказал:

— Объявляю открытым общее собрание членов нашего колхоза!

Люди удивлённо смотрели на него,— так странно было слышать эти слова над могилой, под открытым зимним небом.

— Вот мы провожаем наших дорогих товарищей, мучеников за советскую власть,— продолжал Анисим Сергеевич.— Ежели бы они могли говорить, то сказали бы нам: «Счастливые вы люди! Вы остались в живых, а нам уж никогда не ходить по земле, не косить травушки, не видеть наших родителей, наших детушек...»

В толпе раздался плач, но тихий, потому что были выплаканы все слёзы, и люди, глядя в последний раз на тех, с кем косили, жали, молотили, плясали на свадьбах, целовались и ссорились, подумали, что Анисим Сергеевич говорит правильно: самое главное жить.

— Сильно обездолил нас немец проклятый, но всё ж таки, граждане, руки-то при нас!— Анисим Сергеевич протянул вперёд большие руки свои и сжал пальцы в кулак.— Немец грабил нас, убивал, думал: «Сдохли протасовцы». А нет, живые мы! Живые!— крикнул Анисим Сергеевич и погрозил кулаком на запад.

Могилу забросали комьями мёрзлой земли, развороченной взрывом, присыпали сверху снегом, притоптали его и на снежном бугре водрузили шест с красным платком.

Тут же, возле снежного бугра, продолжалось собрание.

— На повестке дня, граждане, один вопрос: о картошке,— объявил Анисим Сергеевич.— Для всеобщего пропитания надо отрыть чью-нибудь яму. С кого начнём?

— Начинайте с меня,— сказала Авдотья Ивановна.— Яма в огороде возле яблони. Только прошу вас, не потревожьте мне яблоньку. Алексей её сажал... Дорога она мне.

Чтобы откопать яму с картошкой, потребовались усилия всех,— не было ни лома, ни лопат. Анисим Сергеевич приказал натаскать на яму горящих брё-

вен и пожарче развести костёр, а сам принялся затёсывать колья, чтобы рыхлить ими землю. Другие отыскивали доски и пробовали смастерить из них лопаты, третьи разгребали снег вокруг ямы. Всех охватила жажда деятельности, которая томила три месяца сильнее, пожалуй, чем голод. Теперь, когда каждый нашёл для себя дело, все вдруг повеселели, и когда Анисим Сергеевич заговорил о том, что весна не за горами, люди уже верили, что весной снова будут пахать, сеять, снова жизнь пойдёт по своему кругу, который никто не в силах нарушить.

Только один Сёмушка пребывал в растерянности и унынии.

— Чем пахать-то? На чём пахать? На себе, что ль?!

— Государство поможет,— уверенно сказал Анисим Сергеевич. — Понял — го-су-дар-ство! — повторил он торжественно.

Но Сёмушка скептически покачал головой.

— Кошки — и той нету, а то... пахать!

И вдруг все услышали кошачий тонкий писк.

— Братцы! Мурка моя! Мурочка! — закричал Сёмушка и побежал по чадящим брёвнам к печке, на которой сидела чёрная желтоглазая кошка.

Сёмушка схватил кошку, прижал к груди, приговаривая:

— Мурочка! Живая! А Никитушки нету... И Аринушки нету... Нету моих дитёнков...

Все обступили Сёмушку, а он говорил сквозь слёзы:

— Узнала меня по голосу...

Дети ласкали кошку, на лицах их впервые за долгое время появилась улыбка, улыбались и взрослые.

— Вот всё наше поголовье,— горько усмехнувшись, сказал Анисим Сергеевич.

Долго долбили кольями промёрзшую глину, отбрасывая комья руками. Наконец показалась солома, которой была укрыта крупная, розовая «императорка». Запахло землёй, запах этот, как весной, был сильный и острый, и люди, держа в руках большие продолговатые клубни, как бы вдыхали в себя жизнь, затаившуюся в крохотных глазках-зародышах.

Ещё дымились догорающие избы, ветер приносил снежную пыль с полей, заваленных трупами, а здесь, на том месте, где была деревня Протасовка, люди уже начинали свою обычную жизнь. Над костром из догорающих брёвен висел большой котёл; в нём варилась картошка. Люди сидели вокруг в ожидании, когда закипит вода,— даже вот это, такое обыденное — кипящая вода! — волновало людей, и все старались подбросить в костёр дрова, чтобы она закипела быстрее.

— Теперь бы нам коня!— мечтательно сказал Сёмушка.— Хуш бы самого заморыша какого... Мужик без коня, что топор без топорща. А уж ежели бы нам коня...

И все приумолкли. Сёмушка сказал вслух то, о чём думал каждый. Задумался и Анисим Сергеевич. Все смотрели на него, ожидая, а он молчал, глядя в снежное поле. За этим полем было другое, такое же ровное, белое, а за ним — третье,— там кончались земли их колхоза и начинались земли другого, и Анисим Сергеевич знал, что везде вот так же сидят на пепелищах люди и думают о коне и так же смотрят на своих председателей, ожидая ответа.

Так сидели люди и думали, а вдали, по шоссе, непрерывным потоком шли машины, пушки, повозки, шагали красноармейцы, и оттуда доносился слитный гул железа, скрип снега и ржанье коней.

— Пойдём-ка,— сказал Анисим Сергеевич, трогая за рукав Сёмушку.

Они пришли на шоссе, стали на обочине и, сняв шапки, кланялись проходящим войскам.

— Дай вам бог! — кричал Сёмушка, и голос у него от волнения был сильный, неестественный.

Бесконечно тянулись обозы, груз на санях был хозяйственно увязан и укрыт брезентом. От лошадей шёл приятный запах конюшни, веяло теплом, и Сёмушка крякал от возбуждения. Ему хотелось взять вожжи да так вот и итти рядом с подводой, лишь бы слышать пофыркиванье коней, скрип полозьев и промёрзшей упряжи.

— Ты кланяйся, кланяйся! Голова-то не отвалится, — говорил Анисим Сергеевич, заметив подъезжающего верхом командира.

— Что, отцы, тут мёрзнете? — спросил молодой бравый командир в лихо заломленной набок чёрной кубанке.

— Да вот, безлошадные мы остались... Обездолил нас немец вконец. Как теперь и жить не придумаем, — уныло сказал Анисим Сергеевич.

— Архипкин! — крикнул командир отставшему коноводу. — Всегда вы, Архипкин, отстаёте в нужный момент! Где та вороная лошадь, что была вчера ранена в ногу?

— Позади идёт, товарищ капитан! Совсем замучился с ней ездовый...

— Скажи, что я приказал отдать её вот этим старикам. Они её выводят...

— Выходим! Выходим, товарищ капитан! — радостно закричал Сёмушка. — У нас у самих вон какая была конюшня... На бегах призы брали! Выходим!

К ним подвели хромую лошадь с забинтованной правой передней ногой, запряжённую в розвальни. Она так сильно хромала, что грива её касалась земли.

— Кобыла! — обрадованно прошептал Сёмушка.

— Ну, вот и тягло у нас есть,— весело сказал Анисим Сергеевич.— А ты не хотел кланяться... Чай свои, родные люди-то, понимают...

Они пошли рядом с хромавшей лошады; и у Сёмушки на лице было страдальческое выражение, точно у него самого болела нога. Он часто трогал рукой чересседельник, пробуя, не слишком ли подтянута подпруга; ухватившись за оглоблю, помогал лошади тащить сани, ласково покрикивая:

— Ну, милая! Ну, Находка! — так он окрестил лошадь.

Навстречу им от деревни бежали люди; они окружили подводу, а Сёмушка с важным видом рассказывал, как Анисим Сергеевич всё это дело ловко придумал.

— Теперь мы — жители! — радостно восклицал он, суетясь вокруг лошади.

— Я же говорил: госу-дар-ство,— внушительно сказал Анисим Сергеевич.

Протасовцы смотрели на хромую Находку с таким удивлением, будто впервые видели настоящую лошадь. Всё нравилось им — и вороная масть, и густой хвост, а то, что Находка была ранена, разбудило у всех хозяйскую заботу, и все наперебой предлагали свои средства лечения.

— Я сам знаю, чего надо делать,— заявил Сёмушка.— Ей первым делом надо припарку из дубовой коры.

— А куда мы её поставим?— спросил кто-то.— Ни одного сараюшки не осталось.

— Я знаю куда! В силосную башню,— сказал Сёмушка.— Она хоть и разбита, а всё ж таки жить можно и корм под боком... И я с ней там жить буду. У меня теперь полное хозяйство: кобыла, кошка да кривая сошка...

Жизнь Сёмушки сразу наполнилась привычными деревенскими делами, которые очищали душу от то-

мительных и бесплодных дум, и всем было приятно видеть Сёмушку, хлопотавшего вокруг Находки. Лошадь распрягли, и, почувствовав облегчение, она встряхнулась и домовито заржала.

С Ч А С Т Ь Е

«Навсегда... Навсегда»,— угнетённо думал Алексей Петрусьев, разглядывая одеяло, плоско, как на доске, лежавшее на его ногах. Вот уже полгода, как он лежит и смотрит в одну точку и думает одну и ту же неотвязную думу: как жить без ног?

В открытое окно доносился шум большого города, шум неумолкающего движения. По тротуару проходили люди, и слышно было, как весело стучат каблуки по асфальту. Счастливые! Бежали дети из школы, перегоняя друг друга. Счастливые!

Петрусьев закрыл глаза и увидел себя на пристани родного Камышина. Сюда прибегал он после уроков и, закинув удочку, погружался в блаженное созерцание бесконечно струящейся голубой волжской воды. Алексея всегда изумляло это неистощимое, величественное движение реки. Лёгкий ветер бороздил воду, и она сверкала, отвечая солнцу блеском неустанно бегущих волн. Кричали чайки, рассекая острыми крыльями упругий, тёплый воздух, и белый, как чайка, пароход беззвучно плыл вниз по течению, а далеко, в опаловой дымке поднимался гористый берег, за которым лежал большой неведомый мир.

И не было ничего прекрасней в мире, чем эта могучая, широкая, сверкающая река. Но однажды над Волгой появился самолёт. Он прилетел с того берега, пронёсся над водой, взмыл в облака и стал кувыряться, выписывая на голубом небе петлю за

пётлѣй. Он с рѣвом набирал высоту, задрав нос кверху, потом умолкал и, опрокинувшись на спину, валился вниз, молча, беспомощно, словно от безмерной усталости, и сердце Алексея замирало в страхе, восторге и зависти к человеку, обретшему крылья. Он не видел, как окунь дёрнул поплавок и потащил его в глубину. Он не видел ни Волги, ни парохода, причалившего к пристани, ни людей, шумной толпой хлынувших на берег. Он не слышал ни рѣва сирены, ни колокола, ни криков людей... Он видел лишь самолёт, кувыркавшийся в небе, и слышал лишь его захлёбывающийся радостный вой.

Нет, неправда, что счастье лишь в том, что имеешь. Оно и в том, чего ещё нет у тебя, в страстном его ожидании, в движении навстречу своей мечте... С этого дня Алексей перестал ходить на Волгу. Он всё смотрел в небо, и мать, покачивая головой, говорила:

— Что-то наш Алёшка от земли отвернулся?

Алексей действительно отвернулся от земли. Она казалась ему скучной, движение в реке слишком медленным, чайки жалкими, а пароходы были просто смешны. Так и жил Алексей, устремив глаза к небу, и даже, когда стал токарем по металлу, в гудении станков и громе железа слышал всё тот же радостный рѣв мотора и поднимал глаза кверху, чтобы взглянуть на кусочек голубого неба, видневшийся в разбитом стеклянном фонаре крыши.

— На что жалуется? — спросил врач, когда Алексей предстал перед ним, как античная статуя.

— Я здоров. Мне нужно удостоверение для поступления в лётную школу.

Врач любовался его красиво и могуче сложенной фигурой, мускулами, налитыми железной силой, но стучал молоточком, мял, тискал, заставляя присесть, отсчитывал пульс, и вдруг, строго глядя в тёмнокарие глаза Алексея, спросил:

— Ревматизмом болели?

— Немного болели ноги. Судороги были, а потом прошло,— солгал Алексей и, почувствовав, что врач не верит ему, покраснел.

— Летать вам нельзя, юноша. Что будет с вами, если в полёте вам сведёт судорогой ногу? Живите на земле, юноша. Здесь безопасней.

Алексей пошёл к другому врачу, но и того не удалось обмануть. Он ходил по врачебным комиссиям, демонстрировал свои мускулы, но врачи приказывали ему жить на земле. Алексей обратился за помощью в комсомол, а там сказали:

— Врачам видней, а если тебе надоело в Камышине, то поезжай на Амур строить новый город Комсомольск. Кстати, там чудесный климат, и ты вылечишь свой ревматизм.

Алексей уехал на Дальний Восток. Он копал землю под фундаменты огромных домов, заводов, клубов, и тело его ещё больше окрепло, грудь раздалась шире, развернулись плечи, и кровь густым румянцем пробивалась сквозь смуглую кожу загорелого лица. И когда Алексей снова предстал перед врачами, чтобы получить удостоверение на право летать, никто не оспаривал этого права. Алексей работал и в свободное время посещал аэроклуб. Наступил день его счастья. Он самостоятельно взлетел на У-2, и этот медленный, как волжский пароход, самолёт показался ему пределом его мечты.

Нет, неправда, что счастье только в том, что имеешь. Когда Алексей увидел мелькавший в облаках истребитель, он отвернулся от своего тихоходного самолётника. Он любовался крутыми виражами истребителя, стремительным его подъёмом в небесную гору, молниеносным падением к земле, и когда истребитель, превратившись в серебряный крестик, растаял в воздушной синеве, он сказал себе:

— Вот, Алёшка, где твоё настоящее счастье.

И он пересел на истребитель. Только теперь Алексей почувствовал, что у него выросли крылья. Машина повиновалась малейшему движению руки и ноги. Он ощущал самолёт, как своё тело, как рыба ощущает свой хвост и плавники; и руль поворота, на который он действовал лёгким нажимом ступни на педаль, казалось, был связан нервами с каждой частицей его существа.

Он достигал вражеские самолёты, кружившиеся над псковскими лесами, прижимал их к земле и расстреливал. Ему всегда везло. Однажды пулемётная струя, пробив фюзеляж, разорвала в клочья и унесла меховые рукавицы, висевшие в кабине; в другой раз осколки снаряда разорвали на плече кожаное пальто.

Но пришёл день, когда разом померкла вся жизнь. Он не дотянул до аэродрома на подбитом моторе и свалился в лес. Восемнадцать суток он бродил по лесу, едва передвигая раненые ноги. Его преследовали галлюцинации; ему казалось, что он видит свой аэродром, товарищей, и он шёл к ним, потом всё исчезало. Он ложился на землю от истощения, снова вставал и снова видел аэродром.

...Его нашли колхозники, отвезли в деревню, оттуда перебросили на самолёте в Москву, вот в эту клинику, и старик профессор отрезал ему обе ступни, спасая всё тело.

Но зачем птице жизнь, если у неё обрублены крылья?

Одеяло лежит на остатках ног плоско, как на доске. Сегодня принесут протезы. Это всё, чем наука в состоянии помочь безногому. Он будет ходить. Он может поехать в Камышин и сидеть с удочкой на пристани. Может быть, теперь он снова полюбит землю и Волгу. Он может стать к дизелю мотористом, к токарному станку и прославить себя трудом на земле. Он силен, всё тело его молодо и мо-

гуче, его руки в состоянии согнуть железную подкову, но тем тягостней ощущать эту силу. Птица без крыльев умрёт, тоскуя по небу.

«Жить для меня — значит летать», — думал Алексей, и когда товарищи по палате спросили, что он намерен делать, выйдя из клиники, ответил:

— Летать.

Товарищи недоверчиво переглянулись.

Принесли протезы. Алексей нетерпеливо примерил их и сделал несколько шагов, балансируя руками, стараясь сохранить равновесие. Сестра услужливо протянула ему костыли.

— Уберите их! — грубо крикнул Алексей.

Через неделю он прошёл без костылей до двери, а спустя месяц явился в кабинет профессора и поблагодарил его за прекрасно выполненную операцию.

Из клиники Алексей вышел без костылей. Он шёл по улице, смешавшись с толпой. Он шагал, не торопясь, как бы гуляя, чуть раскачиваясь и наклоняясь; вынося вперёд ногу, полусогнутую в колене, он ставил её на землю твёрдо и, чувствуя надёжную опору, переносил на неё тяжесть всего тела, ощущая ногой неровности асфальта. Никто не обращал внимания на человека, медленно шагавшего по тротуару, и Алексею было приятно сознавать, что он ничем не выделяется в толпе. Он не знал, что позади идёт старый профессор, наблюдая за каждым его шагом.

— Так... так, — бормотал профессор, опираясь на палку. — У него проснулась мышечная память... Чудесно! Он чувствует почву... Великолепно! Он ставит ногу смело, доверяя ей. Он не нуждается в палке, в третьей точке опоры... Он хочет пользоваться только своими ногами. Молодец! У этого парня огромная воля... Он верит в себя. Он победит...

Через некоторое время Алексей Петрусьев пришёл «комиссоваться», как говорят раненые, в специальную врачебно-лётную комиссию. Врачи долго молчали, не зная, о чём же можно говорить с лётчиком, у которого ампутированы обе ноги в верхнем окончании третьей части голени.

— Я хочу летать,— сказал Алексей.

— Садитесь, пожалуйста... Ведь вам же трудно стоять,— заботливо проговорил один из врачей — молодой и чувствительный ещё человек, придвигая стул.

— Если я собираюсь летать, то стоять-то я уж могу без всяких скидок на мой недостаток, о котором вы мне напомнили,— сухо проговорил Алексей, продолжая стоять перед столом навытяжку, как полагается офицеру.

— Случай небывалый в нашей практике,— сказал председатель, смущённо потирая руки.— Инструкция говорит ясно на этот счёт... Мы не можем даже обсуждать вашу просьбу...

— Тем более, что у нас достаточно лётчиков, и нет никакой нужды нарушать существующие положения,— присоединился представитель военной авиации.

— Но дело здесь не в том, что вы не нуждаетесь во мне, а в том, что я нуждаюсь в авиации. Жить я могу только как лётчик,— проговорил Алексей и, чувствуя, что от волнения начинают дрожать ноги, присел на стул.

Врачи молчали, разглядывая Петрусьева с тем пристальным вниманием, с каким они изучают какую-нибудь редкую аномалию в человеческом организме.

— Желание товарища Петрусьева вернуться в авиацию столь велико, что мы должны подумать, прежде чем вынести свой приговор,— сказал седой врач, которого в комиссии называли Василием Гри-

горьевичем и, видимо, очень прислушивались к его мнению.— Ведь речь идёт о жизни человека. Мы, конечно, не можем сейчас решить этот вопрос. Необходимо направить товарища Петрусьева в лётную школу, где проверят, насколько он способен нести службу лётчика. И если окажется, что он не утратил своей квалификации, то... мы же не чиновники.

Алексей с благодарностью взглянул на Василия Григорьевича. А через несколько дней он уже сидел в передней кабинке учебного самолёта, а позади него, тревожно поглядывая в спину странного ученика, усаживался лётчик-инструктор. Поднявшись в воздух, инструктор передал управление Петрусьеву, напряжённо глядя на его ноги, поставленные на педали. Алексей чувствовал на себе недоверчивый взгляд инструктора и, вспомнив товарищей по палате, улыбнулся. Он взялся за ручку, нажал ногой на педаль, и самолёт послушно пошёл вверх с разворотом влево. Он чувствовал педаль, как чувствовал почву под ногами во время ходьбы. Он нажимал ногами то сильнее, то слабей, стараясь запомнить то усилие мускулов, какое достаточно для того, чтобы самолёт выполнил приказание его мозга; и самолет летел так же уверенно, как и в руках инструктора.

— Хорошо! — крикнул повеселевший инструктор.— Заложика вираж покруче!

Алексей с удовольствием исполнил его просьбу, испытывая наслаждение первого полёта. Его тело как бы проснулось от долгого оцепенения. Ветер полёта бил в разгорячённое лицо. Пьянил запах бензина и горький дымок сгоравшего масла. Стук мотора отдавался в его теле, как стук сердца, и Алексей снова ощутил крылья лёгкого самолёта как продолжение своего тела и торжествующе поглядывал вниз, на землю, от которой он был теперь независим.

Ему разрешили летать на учебном самолёте. Петрусьев выполнял обязанности связиста: отвозил па-

кеты, курьеров, а однажды целый месяц перевозил мороженые бараньи туши из Чистополя в Казань. Пролетая над густыми прикамскими лесами, Петрусьев думал с горькой усмешкой: «Ну, вот и добился своего — баранов вожу, как ломовой из мясной лавки...»

Самолёт летел медленно — сто километров больше часа; маленький, весь из дерева и полотна, слабосильный, он, как воробей, опускался на казанский аэродром, густо уставленный большими и могучими боевыми машинами, и торопливо шмыгал мимо грозных пикировщиков, истребителей и дугласов в дальний угол аэродрома. Это были самые тяжёлые минуты для Петрусьева. С завистью смотрел он на счастливых людей, поднимавшихся к небу на быстрокрылых истребителях. Он боялся встретиться с кем-нибудь из своих бывших товарищей, которые могли приехать сюда за получением новых машин. И эта встреча произошла, как нарочно, в тот момент, когда однажды Петрусьев приземлился с грузом мороженой баранины.

Мотор заглох как раз против стоянки истребителей. К самолёту подбежало несколько лётчиков и, ухватившись за плоскости, оттащили его в сторону. Один из лётчиков, приглядевшись к Петрусьеву, закричал:

— Братцы, да ведь это Алёшка!

А через минуту Петрусьева душил в своих объятьях старый приятель Миша Соломин.

— Вот чорт! Ну и встреча! Да как же ты очутился на этом примусе? Что с тобой, Алёшка?! — кричал Соломин возбуждённо, громко, на весь аэродром. — Прощтрафился, что ль?

Петрусьев объяснил.

— А теперь вот баранину вожу, — закончил он с угрюмой улыбкой.

— А что же тебе больше нужно? — удивился

Соломин.— Жив... Я бы на твоём месте песни пел. А я вот получил новый истребитель и опять туда... в пёклю! Чую— в последний раз видимся...— Соломин махнул рукой, помолчал и начал перечислять погибших общих знакомых.— Я бы на твоём месте, Алёшка, первым делом женился. Парень ты красивый, за тебя любая пойдёт... Плюнь на всё, Алёшка, и живи! Живи во весь дух... И чтоб детей у тебя было много... Эх!— Соломин даже зубами скрипнул от какой-то внутренней боли, поспешно пожал руку и побежал к своему самолёту.

С грустью смотрел Петрусьев, как новенький истребитель Соломина выруливал на стартовую дорожку, как с яростным рёвом помчался он, набирая скорость, поднимая за собой облако радужной снежной пыли, и, неуловимо оторвавшись от земли, пошёл круто вверх. Он давно исчез в облаках, а Петрусьев всё смотрел в небо,— вот так смотрит большой журавль вслед улетающей к югу стае и, бессильно махая подбитым крылом, прыгает по земле в неутешной тоске...

Через некоторое время Алексей Петрусьев явился к Василию Григорьевичу и сказал:

— Летать на учебной машине я не могу больше. Я— истребитель, и прошу направить меня в истребительную часть, на фронт.

— На фронт?! Что вы, голубчик? — мягко улыбаясь, сказал Василий Григорьевич тем тоном, каким говорят с капризными детьми.— Там ведь воюют, голубчик... Как можно?! Мы вам уж и так много сделали... Вот и довольны с вас... Живите, летайте...

— Я требую, чтобы меня направили в истребительный полк,— повторил Петрусьев.— Я не хочу и не буду возить мороженных баранов...

— Позвольте, каких баранов?! Мы дали вам возможность летать. Что же вам ещё нужно?

— Воевать! Жить для меня значит бороться...

то есть делать то дело, в котором участвовала бы вся душа. Послушайте, доктор,— взволнованно продолжал Петрусьев,— вот вы хирург, но если бы вас заставили резать кур для столовой, что вы сказали бы?!

— Н-да-а... Я вас понимаю, конечно,— смущённо пробормотал Василий Григорьевич.— Я поставлю вашу просьбу на обсуждение комиссии.

Петрусьев пришёл на заседание комиссии, готовый к сражению за свою мечту, но Василий Григорьевич сказал ему с улыбкой:

— Однако, вы ловко поймали нас. Мы признали за вами право летать, а вы очень логично требуете теперь права на возвращение в армию... Что же с вами поделаешь? Мы пошлём вас на испытание в истребительную часть. И если вы окажетесь пригодным к вождению боевой машины, то уж ваше счастье...

Петрусьев приехал в истребительный полк. Командир полка, выслушав его, сказал:

— Вы подумайте: кто же согласится вывезти вас на истребитель? Доверить машину вам... это значит...— он замаялся, а Петрусьев продолжил его мысль:

— Погубить и себя и машину... Вы боитесь за исход полёта?..

— Поймите же меня: я не имею права приказывать лётчику везти вас... если он запротестует. Случай исключительный, и под общие требования дисциплины его не подгонишь. Лететь с вами может лишь доброволец и, прямо скажу, из числа отчаянных. Я сегодня поговорю кое с кем... Может быть, согласится Соломин...

— Миша?!— воскликнул Петрусьев.— Да ведь это же мой друг!

— Тем лучше,— облегчённо вздохнув, сказал командир полка.— Я сейчас пришлю его к вам.

Встреча с Соломиным была совсем не похожа на ту, что состоялась в Казани. Он угрюмо выслушал Петрусьева и, глядя мимо него, проговорил:

— Ты всё чудишь, Алёшка. Давай-ка лучше выпьем.

Он достал из кармана бутылку вина, свёрток с закуской, налил в стаканы.

— Я не выпью, пока ты не скажешь, что завтра мы полетим,— твёрдо сказал Петрусьев.

Соломин выпил, помолчал и, разжёвывая бутерброд, сказал:

— Я, брат, ещё хочу жить. Я и так каждый день рискую отправиться на тот свет...— Соломин налил себе второй стакан и выпил.— И я не понимаю тебя, Алёшка... Какого тебе чорта надо?! Ты — инвалид, но ты жив, и это главное...

— Нет, я не инвалид. Инвалид ты! Ты, видимо, устал, надломился духом. Для тебя главное в жизни вот этот стакан вина и... пироги,— вот твоё счастье! Ты не лётчик!

— Ну... ну, легче, Алёшка, а то я могу и рассердиться,— проворчал Соломин, но Петрусьев наносил ему удар за ударом, поддаваясь растущему в душе гневу:

— Ты, кроме того, ещё трус! Я знаю, чего ты боишься... Ты боишься, что если я поведу твой самолёт, то все увидят, что я... я, безногий, лучше летаю, чем ты... И я докажу, что ты летаешь хуже, чем я!

Соломин побледнел и, стукнув кулаком по столу, сказал:

— Хорошо! Завтра летим.

— Ну, вот теперь и я выпью,— с улыбкой удовлетворения сказал Петрусьев, но Соломин молча вышел, громко хлопнув дверью.

«Легче безногому научиться ходить, чем здоровому признать за ним, безногим, право на счастье,

доступное всем «нормальным» людям,— думал Петрусьев, возмущённый эгоизмом друга.— Разве истинная чуткость к нам, искалеченным людям, не заключается в том, чтобы, не замечая наших физических недостатков, не растравляя наши душевные раны постоянным напоминанием о нашей неполноценности, открыть нам дверь в эту «нормальную» жизнь? Почему же все закрывают эту дверь на замок? Но я сломаю все эти запоры и препятствия! Я буду бороться за свои права против всех равнодушных!»

Разгорячённый этими мыслями, Петрусьев ходил взад и вперёд по комнате под жёсткий скрип пружин и шарниров, заменявших ему суставы и связки, и было что-то такое же жёстко-металлическое и в лице его, и в движениях сильных пальцев, ломавших окаменевший солдатский сухарь.

На другой день утром командир полка, наблюдая за полётом истребителя, которым управлял Петрусьев, одобрительно покачивал головой, приговаривая:

— Так... так... Молодец!

А когда самолёт приземлился, подошёл к Петрусьеву, сидевшему в кабине, и сказал:

— Давайте-ка мы с вами разыграем воздушную атаку. Я буду за немца.

Вечером, за столом в офицерском клубе командир полка предложил выпить за прекрасного лётчика-истребителя Алексея Петрусьева.

— Откровенно говоря,— сказал он, выразительно взглянув на Соломина,— кое-кому из наших лётчиков следовало бы поломать ноги. Может быть, после этого они стали бы летать так же хорошо, как Петрусьев.

Многие расхохотались, а Соломин поспешно осушил свой стакан и, потупив глаза, сказал сидевшему рядом Петрусьеву:

— Ты меня победил, Алёшка.

Командир полка приказал Соломину выехать

вместе с Петрусьевым и рассказать членам комиссии о результатах испытания.

— И передайте там, что мы будем рады зачислить Петрусьева в наш полк. Скоро будут горячие дни, и нам нужно побольше хороших лётчиков.

Узнав об успехе Петрусьева, Василий Григорьевич крепко пожал его руку и сказал, прослезившись:

— Рад за вас, голубчик... Душевно рад! Для меня вы, Алексей Петрович, не только лётчик, талант которого нужен нашей армии, вы для меня — новый тип человека... Да, да!

Получив постановление комиссии о том, что он может быть направлен на фронт в истребительный полк, Петрусьев поехал за назначением. Дежурный капитан с рыбьими глазами и белыми, блестящими, как рыба чешуя, погонами, посмотрев документы Петрусьева, возвратил их, сказав:

— Тут какое-то недоразумение. Вам нужно в ортопедический институт, а не на фронт.

— А это не ваше дело рассуждать, куда мне нужно! — крикнул Петрусьев, выведенный из равновесия оскорбительным тоном дежурного. — Доложите начальнику!

— Не буду докладывать, и так всё ясно, — упорно сказал дежурный и захлопнул окошечко, за которым воцарилась глухая тишина.

Петрусьев постучал в окошечко, но дежурный не открыл. Тогда лётчик нажал рукой и, сорвав крючок, открыл окошечко.

— Я позову коменданта! Вас выведут отсюда! — тонким, визгливым голосом закричал дежурный.

На шум вышел генерал и, выслушав Петрусьева, пригласил его в кабинет. Петрусьев рассказывал о равнодушии людей, а генерал изумлённо смотрел то на ноги его, обутые в новенькие хромовые сапоги, то на постановление комиссии, то опять на сапоги,

такие, как у него, как у всех «нормальных» людей. Вызвав дежурного, генерал сказал:

— Объявляю вам выговор за грубое обращение с офицером-лётчиком. Заготовьте документы на товарища Петрусьева в истребительный полк... Возьмите мою машину, отвезёте его домой, потом на аэродром, посадите в самолёт...

«Ну, теперь, кажется, все препятствия позади», — думал Алексей Петрусьев, приближаясь к фронту; самолёт летел к Орлу, и туда же летели стаями истребители, и бомбардировщики, и штурмовики, — и Петрусьев догадывался, что готовится крупное дело.

На прифронтовом аэродроме кипела горячая работа, когда туда прибыл Петрусьев; никто не беспокоил его расспросами, всем было некогда, и ему было хорошо среди людей, занятых важным и быстрым делом.

— Принимайте шестёрку, — коротко сказал ему командир эскадрильи. — Завтра на заре предстоит бой.

И вот наступило первое боевое утро. Донёсся гул артиллерии, высоко в небе завывали моторы вражеских истребителей, и этот такой знакомый и такой ненавистный звук заставил сердце Петрусьева забиться чаще, напряжённей, — кровь застучала в висках, и всё потемнело вокруг, но это было только на одно мгновение. Петрусьев включил мотор, машину встряхнуло, и ветер, поднятый винтом, ударил в лицо, освежая и веселя. Шестёрка побежала по ровному полю, поросшему одуванчиком и ромашкой, прижимая травы к земле своим грохочущим ветром.

Поднявшись над землёй, Петрусьев подстроился к своему звену, охранявшему журавлиный косяк бомбовозов. Он летел, оглядывая дымящуюся фронтную землю. По шоссе отходили колонны немецких войск, похожие на чёрных гусениц. Бомбовозы сбросили свой груз на них. Бомбы рассекали гусениц на куски, корчившиеся в судорогах. Человеческие фигурки, кро-

хотные, как муравьи, выползали из ям и трещин в земле, бежали, падали, снова поднимались и снова падали, чтобы никогда не подняться.

Но вот справа в лучах восходящего солнца блеснули вражеские истребители, они мчались, нацеливаясь на строй бомбовозов, и Петрусьев, отдавая радостному чувству борьбы, бросил свою машину навстречу врагу.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Лейтенант Буянов, вытянувшись молодцевато, как в курсантском строю, отрапортовал:

— Товарищ майор, лейтенант Буянов прибыл в ваше распоряжение.

Командир дивизиона, худощавый, черноусый, посмотрел на него поверх очков добрыми карими глазами и, чему-то усмехаясь, спросил:

— Прямо из училища? На фронте первый раз?

— Первый раз, товарищ майор, — ответил Буянов стеснительно и даже как бы виновато, — ему показалось, что майор усмехнулся потому, что у него, лейтенанта, безусое, совсем мальчишеское лицо, новенькое, ещё со следами складок, обмундирование и чересчур блестящие сапоги, ужасно к тому же скрипевшие при всяком движении.

«Надо было в лужу их окунуть по дороге», — подумал Буянов о своих сапогах, разглядывая выцветшую гимнастёрку майора, отсыревшие брёвна блиндажа, коптилку, сделанную из артиллерийского патрона, сплюснутого вверху.

А майор, глядя на его напряжённо подтянутую фигуру, вспоминал свой приезд в полк после оконча-

ния училища,— майор видел живой портрет своей юности и улыбался, зная, что Буянов испытывает сейчас радость и недовольство собой, и неуверенность в своих силах.

— Ну, ничего, обживётесь,— сказал майор, пряча потеплевшие глаза под стёклами очков.— Обживётесь и... усы отпустите... Командир вашей батареи, капитан Сизов, боевой. Батарея на хорошем счету... Впрочем, сами увидите,— торопливо закончил он.

Они вышли вместе из блиндажа, и командир показал лейтенанту дорогу на батарею.

С чемоданом в руке Буянов зашагал по лесной дороге, изрезанной колёсами орудий. Было прохладное июньское утро, пели птицы, где-то глухо ворчали орудия, и Буянов с радостным возбуждением разглядывал лес, посечённый осколками снарядов, сломанные, но ещё живые ветви берёз, сорванную, скрученную в трубки бересту, розовые наплывы сока на расщеплённых стволах, и было странно, что в этом лесу птицы поют так же беззаботно, как и в тихих дремучих чащобах Урала.

Думая о людях, с которыми ему предстояло теперь жить и сражаться, лейтенант представлял их себе славными, добрыми, смелыми, все испытавшими и потому способными немедленно ввести его, Буянова, в суровые тайны войны.

Навстречу попался конник, усатый, с добродушно вздёрнутым носом и белёсыми, как бы присыпанными пылью бровями.

— Далеко ль до батареи?— спросил Буянов, хотя и знал, что батарея где-то рядом,— просто захотелось поговорить с артиллеристом своего дивизиона.

— Так она ж за той вон гривкой,— указал конник, улыбаясь лейтенанту, как знакомому.— В нашу батарею, стало быть, товарищ лейтенант?— продолжал он, оглядывая «новенького» с ног до головы.— Это хорошо, товарищ лейтенант..

Буянов хотел спросить: почему же хорошо, но лошадь, отбиваясь от оводов, потащила конника в кусты.

Старший на батарее, лейтенант Рябцев, оказался довольно юным, и держался он с Буяновым, как равный. Он просто и дружески рассказал о жизни на батарее, о своём взводе, который передавал Буянову, и о командире батареи капитане Сизове, которого он, Рябцев, характеризовал с отличной стороны.

Командир батареи находился на наблюдательном пункте и обещал вернуться только завтра утром. До прихода его Рябцев советовал Буянову устраивать свои личные дела, а взвод принимать завтра. Но Буянову хотелось теперь же увидеть свой взвод, свои орудия, и, наскоро пообедав, он отправился знакомиться с командирами орудий.

Командир третьего орудия, старший сержант Голиков, высокий, с пышными светлыми усами, зычным весёлым голосом командовал расчету «смирно» и отрапортовал, что люди занимаются чисткой материальной части.

Дальнобойная пушка, накрытая маскировочной сеткой, смотрела на запад, уставившись в дальнюю, только ей видимую точку; стёклышко её панорамы блестело, как человеческий глаз. Артиллеристы делали своё дело без суеты, уверенными движениями привычных рук, с любопытством поглядывая на нового командира взвода, и, чувствуя на себе изучающие взгляды, Буянов старался придать своей фигуре ещё большую подтянутость и спокойствие. Однако он невольно испытывал прилив волнения, когда Голиков обращался к нему с каким-нибудь вопросом, и вытягивался при этом в струнку.

Голикову было лет тридцать пять, пушистые усы придавали ему вид солидный и строгий. Держался сержант спокойно, с сознанием своего достоинства, как человек, который уверен, что всё у него в порядке

и что знает он гораздо больше, чем этот молодой офицер, только что окончивший училище. Чувствуя своё превосходство, Голиков тем не менее ничем не обнаруживал его, с подчёркнутым вниманием слушал замечания лейтенанта.

— Вы давно на фронте, товарищ старший сержант?— спросил Буянов, любуясь статной, бравой фигурой артиллериста.

— Год и десять месяцев, товарищ лейтенант.

— Большой у вас опыт.

— Конечно, всякое бывало, товарищ лейтенант. Иной раз даже сам себе удивляешься, какие страсти довелось отведать,— Голиков раскраснелся, польщённый вниманием.— Из этого вот орудия, товарищ лейтенант, много побито немцев... Они нас всё нащупывают, надоели мы им. Но немец хитёр, а мы дураки, что ли?

От уверенного, весёлого голоса его веяло бодростью, силой, и Буянов, улыбаясь, сказал:

— Мы немцам ещё не так всыплем! Скоро получим новую технику. Посерьёзней, чем эта пушка. Мы в училище уже изучали новую систему. Не орудие, а целый завод!

— Вот рассказали бы нам, товарищ лейтенант, про новое, а то мы два года в лесу, обросли.

— Заходите вечером, побеседуем.

Буянов направился к четвёртому орудию, унося с собой чувство душевного равновесия. «Замечательный человек»,— думал он о Голикове, решив, что будет учиться у этого опытного и предупредительного артиллериста.

Командир четвёртого орудия Цыплёнков, толстый, с одутловатым лицом и маленькими хмурыми глазками, распекал замкового Гараськина, опоздавшего в строй. Желая, видимо, показать новому командиру взвода свою строгость, он к каждой фразе добавлял непечатное словцо.

Отведя Цыплёнку в сторону, Буянов, волнуясь, сказал ему:

— Чтобы больше я не слышал этой ругани! Если он виноват, наложите взыскание, но этими словечками вы только унижаете себя, как командира, и человека оскорбляете...

— Никак невозможно с ними, товарищ лейтенант, — оправдывался сержант. — И никакого тут оскорбления нет, человека надо вводить в понятие. Без смазки, как говорится, и ствол ржавеет...

— А я вам говорю: забудьте раз и навсегда, понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант. Только порядку никакого не будет, ей-ей!

— Не рассуждайте, а выполняйте моё приказание, — оборвал его Буянов.

Многое не понравилось ему в расчёте Цыплёнку: и то, что командир грубый, ходит в грязной гимнастёрке, и то, что люди какие-то здесь вялые, неразговорчивые, и то, что маскировка сделана небрежно — зелень, покрывавшая сетку, высохла, пожелтела, и по этому жёлтому пятну сверху легко может вражеский наблюдатель обнаружить оружие.

Он приказал Цыплёнку сменить зелень, постирать гимнастёрку; сержант отвечал: «Понятно, товарищ лейтенант», но Буянов чувствовал, что человек говорит это механически, а про себя думает другое: «Некогда и не к чему на фронте красоту наводить. Порядки-де у нас такие давно заведены, сам командир батареи не делал замечаний, а тут в первый же день — всё не так».

«Странно, — думал Буянов, шагая к тому месту, где была размещена тяга, — два орудия стоят рядом, а между людьми их такая разница! Придётся серьёзно заняться Цыплёнковым».

Тракторы и другие машины были в порядке. В транспортёре жил голубь, прирученный шофёрами.

— Это наш воздушный наблюдатель,— рассказывали они о своем любимце,— чуть только немецкие самолёты появятся, он и встревожится, заворкует, закружится. Занятная птица!

Буянов в детстве водил голубей и потому со скрытою нежностью рассматривал сизое оперение птицы, стараясь определить породу. Но... надо было заниматься делом. Пока он осматривал боеприпасы, прикрытые от солнца брезентом, незаметно подкрался вечер. Сумерками в землянку заглянул Голиков.

Разглаживая пушистые, аккуратно расчёсанные усы, он неторопливо рассказывал:

— До войны я парикмахером работал в Москве. Дело будто простое, а тоже нужен свой подход. Не всякого острижёшь под любой фасон. У другого клиента волос жёсткий, как проволока, и ежели его коротко возьмёшь, то и будут торчать на макушке, словно перья. Всякое дело надо красиво делать... Парнишкой я поступил в обучение в парикмахерскую на выезде из города, у заставы. Там, конечно, клиент попроще, без претензий, а для учеников практика богатая. Клиент тут риска своего не понимал, а тем дорожил, что с преёскуранта делалась на этот риск скидка в пятьдесят процентов. И опять же спокойный тут клиент был, его ежели и дёрнешь за волос, только поморщится, слова не молвит. А потом я на Камергерский перешёл, в самый центр. Тут уж никак без подхода невозможно было, потому что к нам и артисты ходили, а у артиста каждая волосинка под фасон лежать должна. И обращение с клиентом требовалось тонкое... Вот так мы и на батарее. Вы говорите: технику новую пришлют нам, как бы сказать, клиент будет у нас тонкий, значит, и обращение должно быть тонкое... А что мы поделиаем с Цыплёнковым! Вон как он бреет своих ребят!

Буянов с удовольствием слушал Голикова, догадываясь, что тот знает о внушении, какое сделано

Цыплёнкову, и одобряет его. Затем он охотно рассказывал об орудиях, принятых на вооружение, о сложной работе артиллеристов на новых системах, и ему было приятно, что он, Буянов, знает что-то такое, чего не знает этот старый, обстрелянный артиллерист.

— Вот, вот,— кивал Голиков головою и, не выдержав, воскликнул:— Я так полагаю, товарищ лейтенант, что мы по артиллерии — первые в мире!

— И главное, товарищ старший сержант, знаем, куда и по какой цели палить...— ввернул своё, улыбаясь, Буянов.— В этом-то деле мы и впрямь из первых первые!

Они разговорились.

Уснул в этот вечер Буянов с чувством удовлетворения своим первым днём во фронтовой жизни, и видел он во сне мать, а проснувшись на рассвете, написал ей большое письмо, в котором немало восторженных строк было посвящено усачу Голикову.

«Придётся, мамочка, и мне отпустить усы»,— закончил он письмо шуткой, но про себя не без горечи подумал, что на верхней губе его ещё долго будет расти только никчемный гусиный пушок.

Пришёл ординарец командира батареи, сказал, что капитан приехал с наблюдательного пункта и желает видеть товарища лейтенанта. Буянов с волнением приближался к блиндажу командира.

Капитан Сизов умывался под деревом, скинув рубашку. Он крякал и фыркал от удовольствия, подставив загорелую шею под струю холодной воды. Увидев Буянова, сказал:

— А, пришел? Я сейчас...

Растирая докрасна волосатую грудь, он всё крякал, как утка, поглядывая искоса на Буянова. Лицо его, опалённое солнцем, скуластое, с выгоревшими, цвета соломы, бровями и рыжеватыми усами, было угрюмо. Он протянул лейтенанту ещё влажную руку

и сдвинул его пальцы так, как если бы пробовал их силу.

— Капитан Сизов! Командир второй батареи. Завтракал, нет? Идём, перекусим.

Они вошли в землянку. Капитан, не надев гимнастёрки, присел к столу, на котором был приготовлен завтрак, и, наливая в стаканчик водку, сказал:

— Ну, давай выпьем с приездом!

— Я с утра не привык, — смущённо проговорил Буянов.

— Какой же ты после этого артиллерист? — воскликнул Сизов и, махнув рукою, выпил. — Мамин ты сынок, а не артиллерист... Ну, ничего, подучишься.

Он закусывал колбасой, крякал и поглядывал на Буянова насмешливыми, замутившимися глазами. Буянов молчал, не зная, что сказать, — он был несколько подавлен.

— А я ещё ночью пришёл с наблюдательного. Все взводы обошёл... Видал, какие у нас орлы? — спросил Сизов, наливая повторно в стаканчик. — Цены нет... Взять хотя бы Цыплёнка. Ты не смотри, что он такой с виду. Ты его в бою погляди... И вот чего... Зря ты, брат, конфузишь его...

«Пожаловался Цыплёнок на меня, — подумал Буянов. — И, вероятно, уверен, что капитан будет защищать его...»

— Я сделал Цыплёнку замечание. Я считаю, товарищ капитан, что можно и нужно управлять людьми без грубости, — твёрдо сказал Буянов.

— Эка важность, выругался! — усмехнулся капитан. — Подумаешь, какие нежности! Тут, брат, не институт благородных девиц. Мамин ты сынок...

— Да, товарищ капитан, у меня, как у всех, есть мать, и я привык уважать это святое для меня слово, — волнуясь, стараясь заставить голос звучать спокойно, сказал Буянов. — И в училище нам говорили, что мы, молодые офицеры...

— Да брось ты меня учить!— крикнул капитан так громко, что Буянов от неожиданности оглох и не слышал, как в землянку вошёл командир дивизиона.

— Кого это вы, товарищ капитан, шарахнули?— строго спросил командир дивизиона.— Уж не меня ли так встречаете?

— Что вы, товарищ майор,— пробормотал Сизов, прикрывая стаканчик фуражкой.

— Значит, товарища лейтенанта? Для первого знакомства?

Сизов молчал, лицо его налилось кровью, стало лиловым.

— Хорошую же встречу устроили вы молодому товарищу,— повышая голос, продолжал майор.— Да вы не закрывайте фуражкой, вижу... Как же вам не стыдно так обращаться с младшим офицером?! Лейтенант первый день на фронте. Он ехал к нам, как на праздник. Молодость... жажда подвига, душа горит... Такой день на всю жизнь — один. А вы не нашли ничего другого...

— Сорвалось, товарищ майор,— промычал капитан, натягивая гимнастёрку.

— Слишком часто у вас срывается... Имейте в виду, что если это ещё раз повторится, никто из офицеров нашего дивизиона, и я первый, не подаст вам руки, а тогда уже придётся вам... того... в другую часть... Извольте извиниться перед лейтенантом!

Сизов помолчал и, глядя в землю, глухо сказал:

— Извиняюсь.

2

Весь день Буянов провёл в хлопотах, в тревоге за свой взвод, но не мог забыть того, что произошло в блиндаже командира батареи. Снова и снова вставала перед ним картина, запомнившаяся до мело-

чей: капитан Сизов стоит перед командиром дивизиона, опустив голову, и на макушке его торчат, как перья, рыжеватые мокрые волосы; командир дивизиона смотрит на него поверх очков, стараясь придать лицу выражение предельного гнева, но добрые карие глаза его упорно излучают мягкий свет и блестят от набегающей слезы... Капитан, надевая гимнастёрку, повернулся спиной, и на плече его проступил шрам. Он сунул левую руку в рукав, опустив её вниз и помогая ей правой рукою. Буянову стало жаль его.

Эта синеватая, глянцево блестящая бороздка на белом матовом плече преследовала Буянова весь день, и он думал о капитане, который проводит дни и ночи на наблюдательном пункте, вычерчивая схему огня, придерживая планшет левой рукой, которая с трудом пролезает в рукав гимнастёрки...

В полдень на батарее раздалась команда:

— Расчёт, к орудиям!

Буянов занял облюбованное заранее место под берёзкой между орудиями. В напряжённой тишине мягко шелестели листья, будто нашёптывая: «Слушай, слушай...»

Старший на батарее, совсем юный Рябцев, высоким и чистым тенором протяжно, как бы запевая торжественную песню, скомандовал:

— По бата-ре-е... фашистско-го-о... зве-еря-а...

Буянов глубоко вздохнул и, чувствуя, как грудь его наливается чем-то густым, горячим, повторил эти слова натужным, горловым криком:

— По батарее... фашистского зверя!

«Как молодой петух», — подумал он, услышав свой неестественно сдавленный голос. Справа зычно и весело откликнулся Голиков. Слева хрипло закричал Цыплёнков:

— ...зверя-а... Гараськин, твою-у...

Вражеская батарея находилась в одиннадцати километрах, но Буянову казалось, что он видит ору-

дия, накрытые маскировочными сетками, и серозелёные, похожие на лесные грибы-поганки фигуры немецких артиллеристов. Он видел и своего капитана Сизова, склонившегося где-то недалеко над картой огня.

— Дально-бойно-ой... грана-той!— уже спокойней пропел старший на батарее, и Буянов отозвался ему окрепшим, отстоявшимся голосом.

Орудийные номера быстро вынули из лотков снаряды. Они держали их, широко расставив ноги. Защищали затворы орудий.

— Взрыватель осколочный!— деловито крикнул Рябцев.

Звонко и разноголосо перекликались командиры взводов и орудий, принимая команду. Артиллеристы молчаливо, быстро и дружно работали возле орудий, слышалось какое-то позвякивание, и Буянову казалось, что натягивают невидимую цепь, поднимая незримую тяжесть, и всё тело его напрягалось, точно он сам был звеном этой цепи.

Наводчики, скосив глаза на командиров орудий, зажали в руках шнуры. Голиков вскинул руку:

— Третье готово!

— Четвёртое готово!— хрипло отозвался Цыплёнков.

— Три снаряда... беглым!— задорно пропел Рябцев, поднял вверх руку и, как дирижёр оркестра, замершего в ожидании, посмотрел направо и налево, выдержал короткую паузу и, бросив руку вниз, отрывисто крикнул:— Огонь!

Слитный гром встряхнул землю, рванул листву, всколыхнул маскировочные сетки. Красные языки пламени лизнули голубое небо, и Буянов, смотревший на орудие Голикова, увидел на какой-то миг снаряд, мелькнувший по небу чёрной мушкой. Потом наступила тишина, лишь в ушах стоял тонкий, комариный звон.

Далеко и глухо, как широкое эхо, прогремели разрывы, и снова долетел задорный голос Рябцева:

— Огонь!

Залпы были дружные, ни одно орудие не заикнулось, и всё радостней становилось Буянову от ощущения слитности с людьми и своей силы. Ему рисовались разбитые вражеские орудия, скорченные серозелёные фигурки немцев, и когда орудия смолкли, он невольно улыбнулся Рябцеву, посмотревшему на него одобрительно. И хотя во время стрельбы стоял он на одном месте, почувствовал усталость во всём теле и вытер ладонью влажный лоб.

Но ещё не развеялся дым последнего залпа, как послышалась новая команда:

— Второму взводу!

«Это капитан меня испытывает»,— подумал Буянов, с тревогой оглядывая расчёты своих орудий.

— Три снаряда... Беглый!

«Не подкачал бы Цыплёнков»,— но Цыплёнков раньше Голикова вскинул руку.

— Четвёртое готово!

«Молодец!»— похвалил про себя Буянов.

— Третье готово!— рявкнул Голиков.

— Огонь!

Грохнуло третье. Заряжающий уже вкладывал второй снаряд, а четвёртое всё молчало. Буянов видел, как Цыплёнков с надсадным криком метался подле орудия, и сам бросился туда.

Он подбежал в тот момент, когда орудие Голикова выпустило очередь.

— В чём дело?— крикнул Буянов, растерянно оглядывая артиллеристов, которые старались не смотреть на него и угрюмо молчали.

— Снаряд заело,— прохрипел Цыплёнков; он сжал кулаки и двинулся к замковому.

— Га-рась-ки-ин! Сколько ж разов я пояснял тебе...

Гараськин угрюмо смотрел на незакрывшийся замок.

— Что же теперь делать?— вслух подумал Буянов, чувствуя, что произошло непоправимо позорное.

— Командира второго взвода к телефону!— крикнул телефонист.

«Ну, вот сейчас... Это капитан...» — угнетённо думал Буянов, шумно дыша в трубку.

— Я слушаю.

— Научитесь правильно разговаривать,— слышался в трубке злой голос капитана.

— Командир второго взвода лейтенант Буянов слушает,— поправился Буянов.

— Почему молчало орудие?

— Снаряд заклинился, товарищ капитан... Заело у Цыплёнова...

— Заело?— насмешливо переспросил капитан.— Значит, материальная часть не в порядке... Кто должен за это отвечать?

— Виноват, товарищ капитан,— покаянно пробормотал Буянов, хотя ещё не понимал, почему заело снаряд и кто собственно виноват в этом.

— Эх, испортили вы мне всю музыку!— огорчённо произнёс капитан и добавил:— На первый раз прощаю, а уж потом не пеняйте, товарищ лейтенант. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан.

— Выясните причину задержки в стрельбе и доложите.

Буянов шёл к орудию, тяжело передвигая ноги, точно нагружённый непосильной тяжестью. Расчёт всё ещё возился возле орудия, вынимая снаряд, а Цыплёнов распекал Гараськина, издавая какое-то шипение.

— Почему заклинился снаряд?— спросил Буянов.

— Давно не было такого, чтоб заедало! А как

оно в точности получилось, кто ж его знает,— тянул Цыплёнков.— Может, они дисциплину утеряли...

— Как это утеряли? Кто они?

— А так что, бывало, товарищ лейтенант, подбодришь их словом настоящим, они и действуют. Ну, а теперь, ежели запрещено!..

— Опять вы своё?— вскипел Буянов и, уже не сдерживаясь, крикнул:— Это вы, командир орудия, потеряли дисциплину! Лени у вас много, разгильдяйства!

Цыплёнков во всём обвинял то замкового Гараскина, то ящичных, но Буянов установил, что патрон был с вмятиной и что снаряды не были отсортированы по вине Цыплёнкова.

«Он упорствует, он неисправим... Его надо сместить»,— решил Буянов, взглядываясь в хмурое лицо сержанта.

Он отозвал Цыплёнкова под берёзку, чтобы сказать всё начистоту. Цыплёнков угрюмо смотрел в пространство и молчал. Не зная, с чего начать, Буянов предложил папиросу.

— Вы откуда родом, товарищ сержант?— спросил он, чтобы как-нибудь, со стороны, подойти к неприятному вопросу.

— Смоленский я, товарищ лейтенант. Щучье озеро есть такое под Белым,— тихо ответил Цыплёнков и вдруг, жадно глотая дым, заговорил возбуждённо:— Огромное озеро, товарищ лейтенант! Там и судаки водятся. Пятнадцать вёрст в длину, а с одного берега глянешь на другой— деревни не видать... Чистое море! Каждую ночь, верите ли, в снах вижу...— Цыплёнков помолчал и, остервенело растапывая каблуком окурки, проговорил глухо:— Тяжко мне, товарищ лейтенант.

— Что такое?

— Жена там с дочуркой осталась. И второй год от неё ничего не слышать... Цыганков с первой

батареи, земляк мой, тот письмо получил, освободили ихнюю деревню. Ну, тоже хорошего мало, пожжено всё... А мне и письма нету! Тяжко мне, товарищ лейтенант. Иной раз ночью проснусь, да как вспомню, вспомню...

Он умолк, не договорив; пухлые губы его дрожали, словно он что-то нашёптывал себе. Молчал и Буянов. То, что он собирался перед тем сказать Цыплёнкову, теперь казалось слишком жестоким и, пожалуй, несправедливым. Было ясно, что за личным горем человек этот как бы терял зрение, а значит — терял и цель. «Главное — знаем, по какой цели палить», — вспомнил лейтенант своё недавнее слово усачу Голикову.

Захотелось немедля утешить Цыплёнкова, призвать его к порядку, напомнить ему о «цели», перед величием которой его, Цыплёнкова, горе — только капля в море. И он уже собирался заговорить, но кто-то голосисто окликнул от батареи Цыплёнкова.

— Можете итти, — сказал ему Буянов, решив заняться с сержантом всерьёз.

— Спасибо, товарищ лейтенант, — сдавленным голосом откликнулся Цыплёнков.

— За что же? — удивился Буянов.

— Да вот, поговорили вы со мною... Может, легче будет, — сказал Цыплёнков и пошёл, сторбившись, в сторону батареи.

Со стороны заходящего солнца нарастал гул самолётов. Раздалась команда «в укрытие».

«Засекли нашу батарею, будут бомбить», — подумал Буянов, торопливо шагая к ровику. Он не хотел бежать, чтобы не обнаружить перед артиллеристами страха. Разорвалась первая бомба, и густым бьющим ветром взрыва Буянова кинуло на землю, протащило, перевернуло.

Он лежал лицом к небу, видел пикирующие самолёты и неожиданно для себя вспомнил о при-

ручном шофёрами голубе. «Воркует и кружится сейчас»,— подумал он, прижимаясь плотней к земле.

Стучали зенитки, трещали пулемёты, земля вздрагивала от взрывов, то и дело слышался пронзительный свист, от которого хотелось зарыться в землю...

— Товарищ лейтенант, ползите к нам!— кричал из ровика Цыплёнков, но Буянов продолжал лежать, прикованный к земле неодолимой силой. Вдруг он увидел столб пламени там, где лежали боеприпасы,— это вспыхнула высушенная ёлка, поставленная для маскировки, за ней— другая... Рыжие клочья огня, как белки, запрыгали по брезенту, покрывавшему снаряды.

«Взорвёт»,— подумал Буянов и, вскочив, побежал. Пламя горящих ёлок дохнуло ему в лицо пахучим жаром. Он схватил ёлку, горящую, как факел, и отбросил в сторону, ударом ноги повалил другую. Ёлка шипела, стреляла в глаза искрами. Буянов вспрыгнул на брезент и принялся топтать ногами огонь. Оглянувшись, увидел бегущих к нему артиллеристов. Впереди был Цыплёнков.

— Брюки! Брюки!— кричал сержант.

«Какие брюки?»— подумал Буянов и, ухватившись за край брезента, потащил его на себя, не замечая, что брюки у него горят и дымятся. Брезент зацепился за что-то.

«Заело...»— вспомнился Буянову насмешливый голос капитана, и он с силой рванул брезент. Цыплёнков отгаскивал ящик со снарядами, гимнастёрка на нём тоже дымилась.

С воем пикировали самолёты, обстреливая из пулемётов людей, боровшихся с огнём, но люди продолжали растаскивать ящики, не замечая, что одежда на них горит, что кожа на руках полопалась и кровоточит. Буянов подбежал к Цыплёнкову, чтобы по-

мочь тому оттащить тяжёлый ящик, но в ту же минуту почувствовал, что нога его как бы увязла в песке. Он старался выдернуть ногу, а нога всё глубже погружалась в песок, и он упал, как бы провалившись в какую-то чёрную яму.

3

Очнулся он в палатке санитарного пункта. Правая нога его была забинтована, на левой был чей-то чужой грязный, сморщенный сапог. Второй валялся на земляном полу с разрезанным голенищем.

— Главное дело — кость не повредило вам, товарищ лейтенант, — услышал он знакомый хриплый голос и, повернув голову, увидел Цыплёнка. — Сапог вот жалко... Новые они у вас совсем... И брюки погорели!

— Убитые... раненые есть? — спросил Буянов шопотом.

— Павших один. Гараськин. Очень, товарищ лейтенант, жалко его. Добрецкий артиллерист был... А снаряды мы спасли! Всё в порядке.

В палатку вошёл командир батареи. Лицо его было в поту, грязные ручейки струились со лба к подбородку.

— Поздравляю с боевым крещением, — сказал он, пожимая руку Буянову. — Командир дивизиона просил передать тебе благодарность... Ну, и от меня тоже... А это ничего, до свадьбы заживёт! Мы, брат, немцу тоже пить дали! — Сизов хотел что-то прибавить, но замялся, крикнул и, покосившись на Цыплёнка, сказал: — Идите к орудию.

Сержант вышел, осторожно ступая на носки. Сизов долго молчал, не глядя на Буянова, но в этом молчании чувствовалось напряжение какой-то большой и взволнованной мысли.

— Когда ты.. пришёл ко мне... первый раз... свежий такой... молодой... чистый,— заговорил он, спотыкаясь на каждом слове, будто с трудом выталкивая из себя что-то тяжёлое,— так вот, глядя на тебя, я себя вспомнил... Я ведь тоже такой был — строгий к себе и другим.. и слова у меня были все хорошие... ласковые... А потом три года в земле... в грязи... в крови... Ожесточился я, брат... И вот как увидел тебя, стало мне обидно... Ну и грубостей тебе наговорил... И глупо, конечно... При чём ты здесь?— Сизов виновато улыбнулся и махнул рукой.

«Вот он какой!»— изумлённо подумал Буянов, расстроганный этим неожиданным признанием. Ему было жаль Сизова, который совсем недавно был молод, нежен и ласков, и вот теперь — постаревший, жёсткий, угрюмый — стоит перед ним, как дерево после бури: с поломанными ветвями, иссеченной и смятой листвой. И Буянов вдруг увидел в нём себя,— того второго Буянова, который пройдёт тяжкой дорогой войны, огрубеет под её жёстким ветром и впитает в себя угрюмый цвет земли, в которую будет зарываться с головой, чтобы сохранить жизнь...

Буянов нащупал руку Сизова и порывисто сжал её своими горячими пальцами.

БАБЬЕ ЛЕТО

Тёплый солнечный день. На небе ни облачка. Неподвижна лимонно-жёлтая листва берёз, лишь багровые листья осины чуть трепещут в извечной тревоге. Чистый воздух прошит шёлковыми нитями паутины. Поблёскивая, они плывут на запад, гонимые неуловимым дыханием осени. Бабье лето.

С тихим шелестом падают листья, кружась, как мотыльки, и устилают лесную дорогу ковриком, рас-

шитым блёклыми красками осени. Тихо, очень тихо в лесу, как бы застывшем в молчаливом и скорбном раздумьи, лишь шорох листопада нарушает тишину, и кажется, кто-то безмерно усталый шепчет невнятные слова. Бабье лето.

Но вот шорох становится сильнее, звонче. Может быть, издали надвигается ветер и ворошит листья? Нет, попрежнему неподвижны деревья, и воздух, и пестрый коврик на широкой и прямой, как просека, лесной дороге. А шорох всё ближе, всё гуще, и, став лицом к нему, человек в зелёной каске напряжённо смотрит, крепче сжимая рукой шейку жёлтого берёзового ложа. Вдали, там, где дорога спускается с песчаного холма, поросшего соснами, движутся люди, построены в ряды.

Впереди и ближе к кюветам идут пять немецких солдат с автоматами, высоко поднимая ноги в жёлтых запылённых сапогах, идут напряжённо, как на параде, печатая шаг, тревожно поглядывая по сторонам. За ними — по пять в ряд — шагают люди, одетые в лохмотья одинакового серого цвета, цвета дорожной пыли, лишь пестреют платки женщин, яркие, как гроздь рябины, растущей по обочинам дороги.

В передней шеренге идут женщины, плотно, плечо к плечу, слившись в одно большое усталое тело. В середине — высокая, тощая, с жёлтым лицом, держит на руках ребёнка с крупными тёмными глазами, открытыми широко и недоуменно. Женщина несёт ребенка, согнувшись от тяжести, опираясь на суковатую палку. Она идёт неровными, то широкими, то короткими шагами, каждый раз наклоняясь вперёд, как бы падая, но слитное тело шеренги поддерживает её и несёт вперёд.

Она шагает второй месяц. Она идёт из-под Вязьмы, а вокруг уже потянулись брянские леса. Женщина не знает, сколько вёрст прошла она, она

и не думает об этом, она знает лишь, что идти ещё долго-долго, до самой Германии. На ногах у неё разбитые лапти.

Рядом с ней справа шагает черноглазая девушка в клетчатом платке и ботинках на высоких каблуках. Один каблук искривился, чуть держится, и девушка припадает на левую ногу, хромая. Щёки её горят смуглым румянцем прочного деревенского здоровья, а глаза — в синих кругах, указывающих на глубокую усталость. Она поддерживает под руку женщину с ребёнком, — ей легче, она молодая, хотя за спиной у неё тяжёлый мешок с пожитками и едой для её более слабых спутниц: картофель, накопанный в поле, возле дороги.

Слева от матери идёт маленькая старуха с равнодушно бесстрастным лицом, блестящим от пота и паутины. Голова её ничем не покрыта. В растрёпанных бурых волосах застрял розовый листик бересклета, и сама старуха похожа на кустик с облетевшей листвой. Она из-под Дорогобужа. Это очень далеко отсюда, от брянских лесов, но старуха всё идёт, механически переставляя босые грязные ноги, глядя перед собой и не видя ничего, кроме немецких солдат с ружьями. Эти солдаты — судьба, и судьбе приходится подчиняться, и шагать, шагать, пока идут ноги, израненные об острые камни.

Рядом с ней девочка лет четырнадцати в ситцевом голубеньком платочке. Она называет старуху бабушкой, но у бабушки нет внуков — они сгорели в деревне. Она не знает, откуда эта девочка-внучка. Что ж, пусть будет внучка... Человеку легче, когда он имеет родню. Никто не знает друг друга в этом потоке людей, гонимых на запад. Все из разных сёл, деревень, городов, все чужие друг другу, и все друг другу очень близкие, — у всех одна судьба, одна дорога, одна боль в измождённом теле, одна тоска...

Людей очень много — тысяч пять, а может, и больше. Они всё идут и идут, и листья шуршат под ногами тысяч людей, идущих в молчании. Говорить нельзя, не позволено. Ведь человеку легче, если он говорит кому-нибудь о своей боли. Но те, кто идёт впереди и по бокам с автоматами, требуют, чтобы люди молчали. Они сами молчат, и всё должно молчать вокруг. Если люди говорят, значит, они живут, о чём-то мечтают, чего-то хотят,— может быть, убежать в лес. Пусть молчат, потому что на шум придут партизаны. А партизаны всюду в лесах и, может быть, где-нибудь совсем рядом...

Кто там кричит? Немецкий солдат останавливается и смотрит в лицо ближайшей к нему женщины. Она должна знать, кто крикнул. Он смотрит в лицо старухи с розовым листиком бересклета в растрёпанных волосах. По этому лицу ничего нельзя прочитать, оно ничего не выражает, кроме душевного оцепенения. Солдат кричит ей что-то на чужом языке, но женщина тупо смотрит в его разъярённые глаза и продолжает механически передвигать босые грязные ноги. Конечно, это явное упорство, нежелание назвать того, кто сейчас крикнул. Эта старуха всё время что-то обдумывает, но если она думает, то, значит, замышляет что-то вредное для германской армии. Ясно,— это вожак...

Солдат вонзает штык в живот женщины, и она беззвучно падает головой вперёд. Она лежит — маленькая, высохшая в долгом голодном пути, и розовый листик бересклета дрожит на её голове, сотрясаемой смертной болью. А мимо идут тысячи людей, одетых в лохмотья цвета дорожной пыли, и смотрят на маленькое скорченное тело с тем выражением, которое сродни зависти: ведь то, что впереди, хуже смерти.

И человек в зелёной каске, укрывшийся в хвое придорожного ельника, ещё крепче, до боли в су-

ставах пальцев, сжимает гладкое берёзовое ложе автомата. Он всё видел. Ему хотелось кричать, стрелять,— он стоял в десяти шагах от немецкого солдата и видел штык его, обогранный кровью старухи, но он стоял, прижавшись к ёлке, окаменев. Он должен молчать. Пока!

А мимо идут и идут — женщины, девушки, старухи, девочки, мужчины, обросшие бородами, юноши, нагруженные мешками, матери, прижавшие к груди младенцев,— идут безродные, бездомные, безыменные, идут дорогобужские, вяземские, ельнинские, рославльские,—идёт Россия, ступая окровавленными ногами по земле, устланной багровыми листьями бабьего лета. Плывут паутинки на запад. Шуршат листья, и кажется, это шепчет сама земля, объятая великой печалью.

И человек в зелёной металлической каске, глядя в серые, запылённые лица проходящих мимо, стоит неподвижно, слившись с тёмнозелёной хвоей. Никто не видит его и не должен видеть. Но он — человек, и слёзы текут по его впалым щекам, и он слепнет от слёз, и ему кажется, что все пожилые женщины в толпе похожи на его мать, а все молодые на сестёр его. Нет, они не могут быть здесь, в брянских лесах — они далеко, за Уралом, где нет войны... Человек вытирает слёзы рукавом и снова всматривается в проходящих, и снова видит свою мать и своих сестёр. Это похоже на страшный сон. Все лица сливаются в одно лицо, искажённое тоской и болью, и нет конца этому шествию горя.

Но вот с холма спускается последняя колонна пленников, а за ней на подводах едут немецкие солдаты. Пора!.. Человек в каске вскидывает автомат, гремит очередь. Это — сигнал для красноармейской засады. Лес грохочет, повторяя шум выстрелов, и тотчас же по всей длине нескончаемой колонны, как стоголосое эхо, ответно грохочет лес, и тысячи плен-

ников юткликаются безумными криками радости: кричат женщины, юноши, старики, младенцы; выстрелы и крики сливаются в один радостный вопль, и от этого густого, сотрясающего воздух крика сыплются листья с деревьев, точно буря потрясла вдруг тихий осенний лес.

Люди обнимают друг друга и плачут слезами счастья. Высокая тощая женщина целует своего ребёнка и, поднимая его над толпой, кричит:

— Наши! Наши! Да милые же вы мои! Дародные же вы мои...

Девушка, сбросив тяжёлый мешок, одним прыжком перелетает через кювет и, схватив за горло онемевшего от страха врага, душит его своими сильными в приливе ненависти руками...

Бойцы целуют старых и молодых, смеются и плачут, суют детям куски сахара, завалившиеся в кармане, шепчут:

— Ах, ты!.. Вот какие дела-то! Братцы вы мои милые...

Иные бойцы, казалось, только сейчас вдруг осознали смысл своего существования, своих страданий и лишений, смысл всех бессонных ночей и тяжёлых походов, великий смысл побед и жертв в жестокой войне. Всё для человека! Всё для них, родных, близких.

А они, потрясённые своим счастьем, кричат, говорят, рассказывают, смеются и плачут, целуя незнакомого человека в каске,—целуют его колючие щёки, его руки, его автомат, края его плащ-палатки. Они дарят ему платки, картофелины, сухие лепёшки — всё, что составляет богатство их в этот час.

А некоторые ещё робко оглядываются по сторонам, не веря своему счастью. Неужели можно идти, куда хочешь? И они стоят на одном месте и протирают глаза, словно просыпаясь после кошмарного сновидения. Они трогают руками травы, они

поднимают с земли яркие листья бабьего лета и дышат, и не могут никак надышаться чистым воздухом осени, воздухом своей свободы, и шепчут лишь одно слово:

— Домой! Домой!

Они знают, что дома их сожжены, но разве не ожидает их всех большой дом Родины!

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Они лежали в кустарнике и наблюдали за древней Ольгино, где немцы, выбитые утром из своих блиндажей, спешно окапывались.

Ершов лежал, вытянувшись во весь свой огромный рост, положив голову на руки, и, видимо, чувствовал себя великолепно под весенним ласковым солнцем. Крупные руки его, сжатые в кулаки, прикасались к прогретой земле, к жёстким вечно зелёным листьям брусники, блестящим, как бы покрытым лаком. Широкое, давно небритое лицо его, тронутое загаром, было спокойно, как у человека, который ко всему привык и знает наперёд, что всё у него выйдет хорошо. Он был доволен тем, что земля под ним сухая, тёплая, что кусты хорошо укрывают его, что видит он из кустов всё, что нужно видеть разведчику.

Иногда руки его разжимались и ощупывали нежную траву, пробивавшуюся из-под рыжей прошлогодней листвы, ворошили её, и тогда карие глаза его щурились от удовольствия, а ноздри расширялись, вбирая приятный запах весенней земли. И по тому, как доверчиво прижался он к земле всем своим тяжёлым телом, Перепёлкин, его сосед, понял, что для этого человека дорого всё, что оживало тут под солнцем в полдневный час: и эта тоненькая,

светлозелёная, почти прозрачная трава, и какой-то красный жучок, переползавший с великим трудом через ложе винтовки, и бледногубой подснежник, примятый сталью штыка.

«Землю любит, у земли вырос»,— подумал Перепёлкин. Он был человек городской, природу видел в парках и скверах, в короткие часы прогулок, и подснежники покупал уже вялые, сорванные чужой рукой. Сегодня он впервые видел множество этих бледногубых цветов, которые казались ему необыкновенно прекрасными в своём свободном цветении. Покачиваясь от ветра и прикасаясь к винтовке, они оставляли на стволе её жёлтую пыльцу.

Что-то зашуршало в кустах. Перепёлкин затаил дыхание. Вдруг он увидел, что к нему движется кочка, одна из тех кочек, каких было много вокруг, круглых, поросших мохом. Кочка медленно приближалась, шурша и пофыркивая. Перепёлкин невольно отодвинулся, и кочка замерла, затихла.

— Ах ты, шут этакий! — сказал Ершов и штыком притронулся к седым иглам животного, на которых были нанизаны сухие листья.— Домой несёт, в гнездо,— он добродушно улыбнулся и тихо добавил: — Ну, ползи, что ль.

И опять Перепёлкин подумал, что рядом с ним лежит человек, который немало убил немцев, но у этого человека мягкое и доброе сердце, льнущее ко всему живому: такому должно быть легко даже перед лицом смерти.

Перепёлкин пришёл на фронт недавно из тесной комнатки, где он под треск арифмометра записывал в книги прибыли и убытки промысловой артели «Игрушка». Очутившись на войне, Перепёлкин растерялся, и у него было непреодолимое чувство подавленности и страха: кругом гремело, рвалось, горело, рушилось. Земля чёрными столбами поднималась к небу. Дома, стоявшие прочно на земле, пре-

вращались в пыль в одно мгновение, и там, где они стояли, оставалось лишь лёгкое облачко, а потом и оно исчезало бесследно.

Но сильнее всего потрясло Перепёлкина то, что происходило с людьми. Он никогда не видел такого множества трупов. Он закрывал глаза, чтобы их не видеть. И он замирал на одном месте, услышав нарастающее завывание снаряда. Он падал, когда с тонким визгом пролетала пуля. Руки его слабели, становились влажными.

Ходил он, спотыкаясь, горбясь под тяжестью снаряжения, а шинель на нём была измятая, вся в морщинах, как кожа у черепах.

Ершов с первого взгляда понравился Перепёлкину. Рядом с этим сильным, спокойным человеком было легче лежать под тошнотный вой мин и треск пулемётов, напоминавший счетоводу треск гигантского арифмометра,— ему казалось, что кто-то торопливо подсчитывает число людей, обречённых на смерть. И, страдая от мучительного ожидания, от ощущения своей слабости, Перепёлкин всё больше привязывался к Ершову.

В этот полуденный час, глядя на осторожно уползавшего от них иглистого ежа и чувствуя подступающую тоску, Перепёлкин рассказывал Ершову:

— Вчера я подошёл к тому месту, где лежал убитый пулемётчик Синицын... За десять минут до смерти он попросил у меня закурить. Папироса валялась рядом недокуренная... Я смотрел на него и думал: только что этот человек жил, говорил со мной, и вот... нет его. Нужно было двадцать лет, чтобы растить его, учить грамоте, уберегать от болезней, кормить, одевать, заботиться о нём, и — в секунду всё исчезло. Нет человека... Я не могу этого понять, товарищ Ершов. Хочу понять и... не могу.

Перепёлкин взволнованно посмотрел на разведчика. Ершов лежал всё так же, положив голову на руки, и смотрел сквозь кусты на деревню. Еж, немного отползши, снова свернулся, увидев возле себя штык, похожий на вытянувшуюся змею. Змей он не боялся, смело бросался на них и всегда побеждал, но такую змею он видел впервые и решил выждать, когда она уползёт.

— Я вот тоже мальчонком был несмышлёным,— Ершов усмехнулся, как бы вспомнив что-то смешное, но глаза его что-то заметили там, в деревне, лицо стало строгим и некрасивым, он умолк и пристально уставился в одну точку.— Видишь баню, что возле ручья? — спросил он, приподнимаясь на руках.— Пушка противотанковая. А рядом сарай и там пушка. Примечай.

Перепёлкин удивился, что ведь и он долго смотрел на баню и сарай, но ничего не заметил. Теперь он ясно видел немецкие пушки.

— Ну, остался я раз дома один, все на покос ушли,— продолжал Ершов с прежней улыбкой.— Я и давай хозяйничать. Так рассудил: придут родители с покоса, пить захотят, поставлю-ка я самовар... Налил воды, наложил углей, разжёл лучинку, наставил трубу. Смотрю, закипел самовар, а родителей нету. Я опять углей подложил, сижу возле окошка, поджидаю, а сам радуюсь: вот молодец, мол, самовар приготовил. А родителей всё нет и нет... Я опять угольков подкинул. Кипит и кипит самовар, весело так шумит, и мне весело. Я всё не давал ему застынуть, сыпал и сыпал угли, все пожёл, а родителей всё нет и нет. Поздно первая пришла мать. Глянула на самовар да как закричит не своим голосом: «Батюшки, распаял!» А тут и отец на порог. Спрашивают, наливал я воду в самовар? Наливал, говорю, целое ведро. Открыли крышку, а там ни капли, и труба торчит боком. Отец её вынул, по-

вертел в руке и бросил к порогу. А я смотрю в пустой самовар и никак не могу понять: куда же моя вода девалась? Целый день ходил и все удивлялся: куда пропала вода? Отец высек меня, а потом пояснил: паром, мол, изошла вода, улетела. А я так и не понял ничего. Потом в школе учитель пояснил, что вода-то не пропадает вовсе, а переходит в воздух, становится облаком, а потом с неба падает дождик... Любопытная штука! Я всё, бывало, смотрю на тучу и думаю: это моя вода из самовара летает... А как, бывало, польётся дождик, я кричу, прыгаю от радости: «Вернулась! Вернулась!»—Ершов помолчал, опять внимательно посмотрел в сторону деревни и тихо добавил:— Вот ведь какой глупый был.

Перепёлкин изумлённо глядел на него, и на худощавом лице счетовода было то выражение радости, когда человеку открывается что-то давно искомое, всегда ускользавшее, сложное, но вдруг оказавшееся таким простым и обычным, как воздух.

— Так, верно, и смерть,— тихо проговорил он и умолк.

Но размышлять об этом сейчас было некогда: от деревни к кустам, где лежали они, шли немецкие солдаты.

Окинув в последний раз взглядом деревню и запомнив всё, что было важно с его точки зрения, Ершов сказал:

— Теперь давай уходить.

Он вынул из кармана платок, разостлал на земле и ногой накатил на него ежа, потом завязал платок узелком, взял его и, пригнувшись, быстро пошёл. Перепёлкин еле успевал за ним.

«Вот чудак, зачем ему этот ёж?»— думал он всё с тем же чувством радостного удивления.

Ершов шёл быстро, широким шагом, держа в правой руке винтовку, в левой — узелок с ежом,

и этот узелок, такой домашний, довершал впечатление, что этот человек идёт куда-то по своему обычному делу,— может быть, в гости, а может, на покос.

Уже темнело, когда они вышли из кустов, чтобы пересечь небольшую полянку, за которой начинался густой хвойный лес. Перед тем как выйти из кустов, Ершов внимательно осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Они поползли, прижимаясь к земле, и серые шинели их почти сливались с рыжевато-серым покровом прошлогодней травы, сквозь которую уже пробивалась свежая зелень. Они почти достигли опушки леса,— оставалось шагов двадцать до ближайших крупных сосен.

Ершов вскочил и побежал, и в тот же момент раздался треск автомата. Ершов покачнулся и медленно опустился на землю. Перепёлкин подумал, что разведчик сделал это нарочно, чтобы затаиться возле земли, и торопливо пополз вслед за ним. Но Ершов лежал неподвижно. Рядом с ним белел узелок.

Треск автомата не прекращался, и вокруг щёлкали пули, и Перепёлкин думал о том, что Ершову нужно бы скорей ползти в лес, а он лежит... Может быть, он поджидает, чтобы вместе двигаться дальше?

— Товарищ Ершов, в лес надо... Скорей! — задыхаясь от волнения, проговорил Перепёлкин, подползая.

— Не могу... в ноги,— хрипло ответил Ершов.— Уходи...

Перепёлкин лёг рядом и каким-то чужим голосом приказал:

— Ложись на меня! Цепляйся руками за шею!

Раненый охватил его шею, подтянулся и всем своим тяжёлым телом придавил Перепёлкина к земле. Только теперь Перепёлкин почувствовал, как слабы его силы.

Надев на правую руку ремень винтовки, он упёрся

ладонями в землю и пополз, а пули визжали справа и слева над головой, шлепались о сосну, к которой Перепёлкин тащил раненого. Он видел, как валились сверху мохнатые ветки, срезанные пулями, как дымилась кора дерева,—пули срывали кору, и, как дымок, разлеталась древесная пыль, наточенная червём-древоточцем. Дерево засыхало, умирало, но за его толстым могучим стволом была жизнь, и туда спешил Перепёлкин.

Он с трудом отрывал от земли руки, казалось, что колени врезаются в землю, как заострённые колья, и не было сил вытащить их, но он всё-таки полз, одержимый одним желанием поскорей добраться до сосны.

«Раненый человек тяжелей»,—подумал он; его угнетало ощущение тяжести, давившей его, прижимавшей к земле, хотелось вытянуться и полежать хоть минуту.

«Девушки и те таскают раненых»,—подбадривал он себя и удивлялся, что ни одна из девушек-санитарок никогда не пожаловалась ему, что трудно выносить раненых с поля боя. «Трудно, но молчат»,—подумал Перепёлкин.

Острая боль в правой руке возле локтя на какой-то миг заставила его замедлить движение. «Но молчат»,—как бы внушая себе что-то, повторил про себя Перепёлкин и пополз дальше. Сосна была уже совсем близко, но тут винтовка, которую он волочил за собой на ремне, зацепилась за пенёк, дёрнула Перепёлкина назад, руки и колени его подломились, и он лёг на землю.

«Мёртвая точка»,—вспомнилось ему. Так спортсмены называют тот критический момент, когда во время бега кажется, что иссякли последние силы и бегун уже не может увеличить скорость бега. Но это только кажется человеку. Нужно усилием воли вызвать запас сил, таящийся в организме,—обрести

«второе дыхание», и тогда решающая доля секунды будет навёрстана.

«Вернулась! Вернулась!» — вдруг вспыхнуло в мозгу то, что час назад молнией прорезало его сознание, и будто кто-то прокричал эти слова радостно, громко. Да... да, так кричал когда-то в детстве Ершов, увидев в потоках дождя воду, улетевшую из самовара.

Перепёлкин рывком упёрся руками в землю, оттолкнулся правым коленом и пополз к сосне. Тяжесть Ершова слилась с тяжестью его собственного тела, — и потому, что ощущение посторонней, давящей ноши исчезло, стало вдруг легче дышать, легче переставлять руки, отталкиваться ногами. И эти два тела, слившиеся в одно, прикрывала сосна, принимая на себя поток пуль.

— Как себя чувствуешь? — спросил Перепёлкин, когда выстрелы затихли.

Ершов не ответил, но руки его, цепко обнимавшие шею, были горячи, и Перепёлкин успокоенно вздохнул. Он забинтовал ноги разведчика в тех местах, где брюки были мокры от крови.

«Ну и вспотел же я», — подумал Перепёлкин, чувствуя, как остывает промокшая спина. Теперь, когда Ершов лежал на земле, было приятное ощущение лёгкости во всём теле.

И Перепёлкин пополз дальше, взвалив на себя раненого разведчика. Он тащил его всю ночь.

На рассвете Перепёлкин решил отдохнуть последний раз и только теперь увидел, что шинель Ершова на груди пропитана кровью. В крови была и шинель Перепёлкина на спине. Он стал перевязывать рану товарища, но, прикоснувшись к груди Ершова, ощутил холод, сковавший тело навеки.

Лицо Ершова, как всегда, было спокойно, а глаза полуоткрыты; казалось, он пристально смотрит на плывущие над ним облака.

И впервые смерть не утратила Перепёлкина, не вызвала ни тоски, ни смятения. И будто впервые увидел он землю, на которой прожил двадцать пять лет. Близкой и понятной была ему травинка, зеленевшая между застывшими пальцами Ершова, и лес, шумевший по-весеннему птичьим криком и свистом, и облака, насыщенные дождём, и вся земля, озарённая зеленоватым утренним светом.

Он покрыл Ершова сосновыми пахучими ветками, повесил на плечо его винтовку, взял свою и пошёл. Он пытался вспомнить, когда же вошло в него это новое. Может быть, тогда, когда Ершов обучал его видеть то, что нужно видеть разведчику. А может, в тот миг, когда тяжесть раненого слилась с тяжестью его собственного тела...

Перепёлкин шёл, согнувшись, но твёрдо ступая по траве, которая за эту ночь стала гуще и выше.

ВОЛК

Снаряд разорвался возле командного пункта. Белый, крупный днепровский песок, поднятый взрывной волной, ослепил обер-лейтенанта Ганса Хука, и когда он протёр глаза, то увидел, что тридцать два солдата — всё, что осталось от его батальона — стоят перед малорослым русским автоматчиком, высоко вскинув руки.

Не веря глазам своим, Хук снова протёр их грязной ладонью, но в это время справа и слева слышались громкие крики «ура», и Хук понял, что русские окружили остатки его батальона. Но он был так потрясён унижительным зрелищем, что на минуту оцепенел, силясь осмыслить то, что произошло.

Солдаты стояли в одинаковой позе, словно заранее сговорились подогнуть ноги в коленях, выгорбить

спины, втянуть животы. Скорченные страхом фигуры солдат напоминали начальную букву страшного слова «штербен»¹:

«Неужели это мои солдаты? — растерянно думал Хук, глядя на сгорбленные спины и чувствуя подступающую к горлу тошноту. — Солдаты, которые ходили в атаку, высоко поднимая ноги, как на параде, небрежно зажав в губах сигареты, с презрительной улыбкой на лицах... Они занимали село за селом, город за городом и всюду овладевали жирной пищей, вином, женщинами, золотом. Так неужели же это они, победители, стоят сейчас с поникшими головами, с позорно поднятыми руками? Что же случилось с ними? Безмерная усталость отступления? Но бывали и раньше трудные дни, а солдаты бодро шагали вперёд. Безвыходность положения? Но бывали и раньше случаи окружения, а солдаты не сдавались...»

Вот уже три месяца они шагают не на восток, а на запад по разорённой, сожжённой земле, пятясь под напором русских, которые лезут, как дьяволы, и гонят, гонят, не давая опомниться. Каждый день оглашают приказы Гитлера: «Остановиться или умереть!» — но никто не может остановиться и не хочет умирать. До границы осталось совсем немного, а там, за старыми пограничными столбами — города, разрушенные бомбами, семья, похоронённая под обломками, женщины под чёрными покрывалами траура... И солдатам нет никакого дела до Гитлера и до обер-лейтенанта Хука. Они думают о своей шкуре.

«Сволочи! Мерзавцы! Скоты! — в бессильной ярости шептал Хук. — А-а... Теперь я вижу ваши подлые души! Вы не воевали, нет, — вы с хрюканьем бежали на восток, как бежит к кормушке голодная свинья. Теперь нет больше кормушки, и вы бросили свои винтовки на землю... У вас даже нет мужества вы-

¹ Умереть.

стрелить себе в тупой лоб! Если бы в пулемёте была хоть одна лента, я продырявил бы ваши свинячьи головы!»

И хотя сам Хук грабил, убивал, насиловал и одобрял все поступки своих солдат, в эту минуту он ненавидел их. Он покинут своими солдатами. Он стоит один в своём окопчике. Всё кончено!

Хук представил себе жёлчно-насмешливое лицо командира полка Лемке и язвительные усмешки мальчишек-офицеров, вчерашних желторотых юнкеров... Только смертью своей он смоет позор. Хук выхватил из кобуры парабеллум и вскинул к виску, всем телом ощутив противный холод стали. Палец расслабленно лежал на спуске, медлил, не подчинился, а мозг лихорадочно подыскивал оправдание этой слабости: почему фельдмаршал Паулос не застрелился? Почему не покончили с собой тысячи офицеров, сдавшихся в плен под Сталинградом? Почему же он, Хук, должен умереть? Разве только его батальон покрыл себя позором? Вся армия отступает за запад... Хук не может отвечать за всех.

Рука его разжалась и выронила оружие. Хук выскочил из окопа и бросился бежать по чёрному полю. За спиной затрещали выстрелы. Пули, ударяясь в сухой чернозём, как бы взрывались в клубках пыли, похожей на дым, и Хук, стараясь ускользнуть от этих клубков, метался из стороны в сторону, глотая пыль широко разверстым ртом.

Вскоре крохотный клочок пашни, по которой он бежал, кончился; это был единственный оазис жизни в беспредельной пустыне. Вокруг земля была покрыта густыми зарослями чернобыльника, васильков, ромашки, чертополоха, татарника, окопника, полыни,— сорных трав, рождённых войной. Они стояли, усыпанные бубенчиками и орешками семян, и, вздрагивая от взрывов снарядов, мин, бомб, осыпали на землю бесчисленное потомство своё, чтобы вконец

вытеснить на земле рожь, пшеницу и просо — всё, что веками любовно возделывал человек своими неутомимыми руками.

Холодное осеннее солнце угрюмо озаряло бурые, косматые заросли жёстких, колючих трав. Низкие, тяжёлые облака роняли капли дождя, и, казалось, кто-то большой, неутешный оплакивает осквернённую землю.

Усохшие, толстые стебли сорняков трещали под ногами Хука, как кости, цеплялись за одежду шипами, колючками, впиваясь острыми зазубринками семян. Заросли были перевиты, как проволокой, жёлтыми нитками повилики; они оплетали ноги Хука, затрудняя движение, заклёстываясь петлями, и ему казалось, что кто-то хватает его за ноги, стараясь повалить на землю, и он упал, запутавшись в повилике, как птица в петлях силков. Он лежал, шумно дыша, и с ненавистью глядел на жёлтую проволоку повилики:

Это растение Хук хорошо запомнил с детства. Разгуливая с отцом по имению, он часто слышал его жалобы на повилику. Старый Хук — доктор сельскохозяйственных наук — любил читать сыну лекции.

— Вот это повилика. По-латыни «кускута европейеа», а простонародье зовёт её «чортовыми нитками», — монотонно бормотал он, посасывая толстую сигару. — Она не имеет зелёных листьев. Она не вырабатывает для себя жизненных соков из земли и воздуха. Она высасывает их готовыми из других растений. Она обвивается вокруг растения, протыкает его, как штыком, своими присосками и пьёт его кровь. Эти «чортовы нитки» погубили у меня два гектара семенного клевера. Это вредное растение — паразит, но оно наводит на полезные размышления: мы, немцы, — «кускута европейеа», мы добудем себе жизненные соки из тела других народов. Запомни это, Ганс!

Ганс запомнил. Он пошёл с оружием в Чехию, Францию, Польшу, Норвегию, Данию. Он пришёл в Россию, и «чортовы нитки» войны тянулись за ним, опутывая и умерщвляя поля, людей, леса — всё живое на просторах великой страны...

Укрыться бы в какой-нибудь балке! Но степь лежала вокруг ровная, томительно бесконечная, серая, мёртвая, страшная. И Хук побежал снова.

Он давно потерял пилотку. Волосы его намокли от пота, прилипли к вискам. Стало невыносимо жарко. Хук сбросил с себя тёплый френч, подумав, что в карманах остались документы и ордена, а на рукавах и плечах — знаки, особенно ненавистные русским, — череп и кости, символ смерти. Теперь этим нельзя гордиться. Это — клеймо преступления.

Так не стало обер-лейтенанта Хука. Он был никто — безликий, серый, как ворона, стандартный, как крест на придорожных могилах. На нём был свитер, отнятый у харьковского профессора, связанный из мягкой, шелковистой шерсти тёмносерого цвета, с длинным, пушистым ворсом, сохранявший тепло, как термос. Колочки репейника особенно цепко хватались за этот ворс, рвали и вычёсывали его, и Хук бежал по зарослям бурьяна, как линяющий волк, оставляя на них ключья серой шерсти.

Треск выстрелов, раздававшийся позади, передвинулся вправо и влево, обтекая Хука, и лишь впереди оставалось узкое пространство, наполненное тишиной. Туда, как в ворота, побежал Хук, стараясь опередить смыкающиеся крылья погони. Но вдруг ему показалось, что и впереди гремят выстрелы. Может быть, это было эхо. Хук кинулся влево, но и там послышались выстрелы и крики «ура». Хук, как заяц, притаился в канаве. Но ведь именно там, влево, на пригорке, штаб полка, там Лемке... Значит, и ему конец? И хотя Хук вчера ещё трепетал перед ним, ёжась под холодно-презрительным взгля-

дом его оловянных глаз, он не мог сдержать чувства злорадства, вообразив, как толстый, страдающий удущьем Лемке улепётывает от русских. Ведь это он, Лемке, всегда твердил: «Мы — прусские офицеры, лучшие офицеры в мире. У русских нет офицеров. Я не видел ни одного настоящего русского офицера на всём пути от Ломжи до Орла...»

«Теперь ты увидел их, жирный боров! — злобно подумал Хук. — От Орла до Киева их было много. От Киева до Германии их будет, наверно, ещё больше... Что же такое Россия? — продолжал думать он. — Вот она — беспредельная, как океан, в котором растворились несметные полчища монголов, непобедимые армии Наполеона, миллионы немецких солдат. Вот она — сожжённая, превращённая в пустыню, и всё же неистребимая, страшная.. Нужно бежать, бежать...»

Хук снял сапоги и устремился вперёд в одних чулках. Эти чёрные, толстые, из грубой овечьей шерсти чулки он стащил с костлявых ног умирающей старухи на хуторе под Киевом. Они были ещё тёплые, когда Хук натягивал их на свои потёртые ноги. Пятки были заштопаны белыми нитками, и Хук объяснил это отсутствием у славян эстетического вкуса.

Он бежал, мелькая белыми пятками, и, не заметив скрытого травой обрыва, вдруг скатился на дно сухого оврага. Он поднялся, весь облепленный колючками, соломинками, комочками земли, травинками, приставшими к ворсу свитера, к чулкам и расчёпаным волосам. Вот таким, похожим не то на овцу, не то на чорта, он предстал перед старухой, сидевшей на дне оврага, у своей земляной норы в ожидании скорого избавления.

Увидев странное существо, обросшее шерстью, и приняв белые пятки за копыта, старуха перекрестилась, решив, что это сам «нечистый». А Хук, заметив одинокую женщину в рваной кацавейке, решил,

что в этой кацавейке ему легче будет прюбраться под видом местного жителя. Знаками он дал понять старухе, чтобы она поскорей сняла кацавейку, и по этим жестам, изученным за два года, старуха поняла, что перед ней не чорт, а обыкновенный немец. Неожиданно резким и сильным голосом она закричала:

— Бабы! Немец! Держи его!

И тотчас же из земляных нор, черневших в откосах оврага, высыпали женщины и окружили Хука. Морщинистые, измождённые лица их были темны, будто вылеплены из земли. Волосы дико торчали из-под рваных платков. Всё было тускло и безжизненно в их облике, лишь глаза горели, как раскалённые угли, остановившись на одной точке, и этой точкой был Хук.

Он стоял, хрипло дыша, и тупо смотрел на обступивших его людей. Нет, это были не люди, а призраки разрушенного им, Хуком, мира, слетевшиеся в этот глубокий овраг,— души расстрелянных и замученных им людей.

Они жили в земляных тёмных норах, потому что он сжёг их жилища. Они питались сорными дикими травами, потому что он вытоптал их поля. Они поили своих детей мутной водой, потому что молоко пил он. Они угрюмы, потому что смеяться мог только он. Они больны и немощны, потому что степное могучее здоровье их высосал он, Хук,— «кускута европеа»...

Они стояли вокруг него плотной стеной, и Хук понял, что они жаждут его немедленной смерти. Совсем близко трещали выстрелы, и Хук подумал, что лучше сдаться на милость вооружённым, чем погибнуть на дне этой балки.

Он ударил ногой в живот женщину, стоявшую рядом, опрокинул её на землю и бросился в образовавшуюся брешь. Толпа ринулась за ним вдогонку с криком:

— Держи! Держи-и!!

Хук был молод, здоров, умел бегать. Расстояние между ним и толпой увеличивалось, но женщины упорно гнались за ним, и Хук слышал за спиной глухой топот их ног и шелест их дыхания, подобный шелесту крыльев огромной птичьей стаи. Хук был физически сильнее настигавших его женщин, но, истощавшие от голода и болезней, они в эту минуту ярости были сильнее Хука силой, которую он сам разбудил в их немощем теле. Пока одни бежали следом за Хуком, другие перерезали ему выход из балки и прижали в отвесному откосу оврага. Наткнувшись на него, Хук шарахнулся вправо и столкнулся с женщиной, преградившей ему путь. Она протянула к нему длинные, сухие, как палки, руки и ухватилась за свитер. Хук толкнул её плечом, и она упала, но из-за куста терновника появилась другая и тоже уцепилась за свитер. Хук ударил её кулаком по лицу. Женщина пошатнулась и медленно присела на землю, но перед Хуком, как из земли, выросла третья женщина.

Он побежал в другую сторону и с разбега налетел на женщину с серыми, как дым, волосами, очень похожую на ту, с какой он стащил чёрные чулки с белыми пятками. Старуха еле держалась на ногах от слабости и, не имея сил ухватиться за Хука, повалилась ему под ноги. Хук споткнулся об её тело и растянулся на земле.

Со всех сторон надвинулась на него толпа, десятки рук протянулись к нему, и все они были одинаково тёмные, с напряжённо взбугрившимися венами, в трещинах, забитых землёй. И, почувствовав, что ему уже не уйти от этих рук, что его сейчас убьют, Хук встал на четвереньки и завыл, как волк попавший в капкан.

Дикий, звериный вой этот был так неожидан, что женщины опешили, потом кто-то рассмеялся, и во

облегчённо расхохотались, глядя на ползающего по земле, воющего зверя с набившимися в шерсть его головками репейника, соломинками и колпочками. Женщины показывали на него пальцами и закатывались смехом. Они отвыкли от смеха за два года. Смех утомил их, и они опустили на землю, вытирая проступившие слёзы.

Теперь Хук хотел умереть, лишь бы не слышать страшного смеха, от которого мутился рассудок. Но его не тронули, потому что смерть была бы слишком лёгким наказанием за все его преступления. Он будет добывать глину, делать кирпичи и складывать из них жилища вместо сожжённых им; выравнивать ямы и воронки от его снарядов и мин; строить мосты, взорванные им; сажать леса и сады, порубленные им; чистить колодцы, отравленные и загаженные им; он будет работать, пока не зазеленеет степь и не заживут раны в сердце этих людей, пока не возродится на земле погубленная им радость большой счастливой жизни.

У С Л О В И Е С У Щ Е С Т В О В А Н И Я

Инженер-капитан Николай Петрович Широков получил письмо от жены. Она писала:

«Родной наш! Мы вернулись в Москву. Борька в восторге: он распотрошил твои охотничьи патроны и спешно изобретает какое-то новое оружие. Условия нашего существования здесь много лучше, но для меня с Борькой главным условием существования являешься ты, мы живём тобой, твоими письмами, мыслями о тебе...»

Широков не успел дочитать, экстренно вызвали к командиру батальона. Он сунул письмо в карман и торопливо зашагал через маленький дворик, за-

росший сорной травой. Город М. был только что занят нашими войсками. Среди развалин каким-то чудом уцелел деревянный домик, в котором и разместился штаб сапёрного батальона.

Проходя по двору, Широков по профессиональной привычке зорко всматривался в предметы, валявшиеся на земле,— консервная банка, обойма с патронами, немецкая каска — всё могло быть источником смерти, всё заминировано.

— Вот что, Николай Петрович,— сказал командир батальона, взглядываясь в усталое опавшее лицо своего начальника штаба,— приходится вас беспокоить... Сейчас пришли сапёры и доложили, что электрическая мельница ими осмотрена, но мин не обнаружено. Здание железобетонное. Кругом металл, и, конечно, миноискатели бессильны. Мельница оставлена немцами целёхонькой. Не может быть, чтобы они не заминировали её. А я получил приказ немедленно проверить мельницу, нужно начать помол. Посмотрите, пожалуйста, сами... Вы ещё не ложились спать?

— Нет. Но это не имеет значения. Потом усну,— ответил Широков, хотя спать ему хотелось смертельно.

— Понимаете ли — у крестьян есть зерно, а молот негде. Без хлеба же нельзя существовать. Они и так отощали, смотреть страшно... И для армейских пекарен нужна мука, для госпиталей.

— Понимаю, товарищ капитан,— сказал Широков и быстро вышел.

Белое здание электрической мельницы было видно издалека. Оно возвышалось над горами развалин, как светлый, праздничный памятник погибшему городу, который славился своей чудесной пшеничной мукой.

Возле мельницы стояли бойцы охраны, боязливо поглядывая на здание,— оно могло взорваться каждую секунду, как рвались клубы, школы, церкви, боль-

ницы, наполняя воздух белой едкой известковой пылью. Бойцы увидели инженера, спокойно входившего в здание мельницы, и повеселели.

В машинном отделении Широков увидел электромотор. Ремень привода уходил в отверстие в стене, делившей мельницу на две половины. За этой стеной находились жернова. Здесь стоял запах мучной пыли, покрывавшей выступы стен, цементный пол, кожух большого вентилятора.

Широков остановился, ощупывая взглядом стены, пол, потолок. Было тихо, лишь в окно с разбитыми стёклами доносилось урчание самолёта. Но вот и он улетел. Широков услышал стук часов, они тикали ритмично, неторопливо. Сомнений не могло быть, — это работал часовой прибор — взрыватель замедленного действия. Широков подошёл к металлическому кожуху вентилятора, опять прислушался. Стук сделался тише, как бы переместившись в противоположную сторону, к окну. Широков быстро шагнул к окну. Теперь часы тикали где-то вправо, возле стены, отделявшей механизм мельницы от машинного отделения. Широков бросился к стене, приложил ухо.

Звук часов отчётливо слышался в стене. «Здесь», — облегчённо вздохнув, подумал Широков. Нужно было действовать быстро, взрыв мог последовать каждое мгновение. Он выбежал и крикнул бойцам:

— Отойдите подальше! Мельница заминирована!

Бойцы, уже расположившиеся на бревне, чтобы закурить, кинулись в разные стороны, забыв кисет с махоркой. Они отбежали за каменную стену разрушенного дома и, выглядывая из-за угла, переговаривались между собой:

— А как же он сам-то?

— Его должность такая. Инженер.

— А страшно, братцы, небось, одному. Того и гляди грохнет...

— Да уж что и говорить. Скажи мне сейчас: «Иванов, вот тебе тысячу рублей, сходи на мельницу»,— ни в жисть не пойду...

— Как так не пойдёшь? Присягу принимал? — строго перебил его сердитый голос.

— По присяге-то я пойду. Я об деньгах,— смущённо пробормотал боец.— За присягу я не говорю...

— Он-то, инженер, учёный...

— Помирать что учёному, что неучёному — одинаково неохота. У него, может, детишки...

— У всех детишки! — зло крикнул тот, кто напомнил о присяге.— Ежели об этом думать, то и воевать некому будет.

Разговор оборвался.

Широков, предупредив бойцов, вернулся в помещение. Но, проходя через машинное отделение, он вдруг услышал тикание. «Это мне кажется»,— подумал он, но приложил ухо к стене. Часы стучали гораздо громче, чем в той стене, где он услышал их первый раз. «Значит, здесь... А там был лишь отголосок»,— решил он. Теперь нужно было определить, в каком месте стены заложен прибор. Передвигаясь вдоль стены, Широков прикладывал ухо, прислушивался, и в каждой новой точке звук улавливался ухом, не ослабевая и не усиливаясь. «Значит, где-нибудь ниже или выше...»

Широков припал на колени, прижался к стене почти у самого пола. Часы тикали. «Конечно, в полу! И как же я не догадался раньше?» — обрадовался Широков. Но пол цементный, и нигде не заметно ни одной трещины, ни свежего по цвету пятна. Широков резко поднялся и почувствовал головокружение. «Это от переутомления... Я не спал две ночи... Много курил...» И всё-таки вынул из кармана пачку папирос и закурил.

«Нет, врешь! Я найду всё-таки»,— мысленно возражал он кому-то, а часы тикали, как бы издеваясь над

ним, то в стене, то в полу, то в кожухе вентилятора, тикали размеренно, неторопливо, неумолимо приближая грозное мгновение.

Широков искал их в одном месте, но они стучали везде, и нигде их не было. «Что за чорт!» — раздражённо воскликнул он, оглядываясь вокруг. Часы с безжалостным равнодушием механизма отсчитывали секунды его жизни. Смерть будет мгновенной, он услышит лишь звук взрыва... О чорт! Ведь он ещё не успел даже прочитать до конца письмо. «Главное условие существования,— вспомнил он.— Да, чтобы существовать, чтобы увидеть Борьку, Москву, жену, нужно остановить эти проклятые часы...»

Широков снова принялся исследовать каждый метр пола, каждый кусочек стены, выслушивая их, как выслушивает больного врач, прижимаясь ухом к грязному цементу, к пыльным стенам мельницы. Часы тикали, их звук то приближался, то уходил, неуловимый, дразнящий.

«А может быть, мне всё это чудится?» — вдруг подумал он, напряжённо вслушиваясь. Нет, часы стучали. Может быть, осталось всего несколько секунд до взрыва? Широков вздрогнул и, чувствуя своё бессилие и неотвратимость смерти, бросился бежать. У двери он столкнулся с посыльным от командира батальона.

— Товарищ инженер-капитан, командир батальона послал узнать...

Посыльный был юноша с большими светлыми глазами, с нежнорозовыми щеками, и Широков, взглянув на этого цветущего молодого человека, заорал:

— Убегайте скорей! Скорей!

Посыльный шарахнулся, побледнел, побежал, но, увидев, что инженер стоит, овладел собой и пошёл шагом, и Широкову стало стыдно, что поддался слабости, кричал,— покинул свой пост. И он вернулся в помещение, чувствуя, как ноги его дрожат в коленях.

Он прислушался — часы тикали. Широков закурил, и неожиданно припомнились строчки из Шерлока Холмса, читанного в детстве: «Он закурил сигару и, окутавшись ароматным синим дымком, погрузился в размышления, стараясь постигнуть тайну кошмарного преступления...» Широков улыбнулся, и ему стало легче. Спокойствие возвратилось к нему, а вместе с ним проснулось и самолюбие профессионала: он, инженер-сапёр, научивший сотни людей разряжать мины, разрядивший своими руками тысячи их, не может найти этот чортов будильник, замурованный какими-то паршивыми фрицами! Да, они бы здорово хохотали, если бы могли видеть его глупо растерянное лицо...

Широков швырнул папиросу и в третий раз принялся выслушивать и выстукивать стены. Он потерял ощущение времени и, когда взглянул на окно, удивился, что уже наступил вечер. Сумерки быстро сгущались, скрадывая очертания предметов, надвигаясь из углов, и теперь сильнее ощущалось одиночество, и громче тикали часы. Электрического фонарика Широков не захватил с собой, пришлось прекратить поиски. Почти ощупью нашёл он дверь.

Очувившись на свежем воздухе, инженер облегчённо вздохнул, тайно, про себя, предвкушая сон. «А может быть, за ночь она взорвётся?» — шевельнулась мысль, и он не отгонял её, хотя понимал, что вслух произнести её при других не мог бы, пожалуй.

— Ну, как? Нашли? — встретил его вопросом командир батальона.

Широков тяжело опустился на стул.

— Часы стучат... А найти никак не могу... И сейчас в ушах тикает... Всё тикает — и пол, и потолок, и вот стена... Я возьму фонарик и опять пойду, — проговорил Широков и протянул руку к чемодану, стоявшему под столом.

Но чемодан уплыл от него, пропал вовсе из глаз.

— Держите... уйдёт,— прошептал Широков и мгновенно уснул.

— Переутомились вы, Николай Петрович,— сочувственно сказал командир батальона, кладя ему на плечо руку.

— Простите... задремал,— внезапно пробуждаясь, пробормотал Широков, растирая ладонями лицо.— Я сейчас, сейчас...

— Нет, вы должны отдохнуть. На мельницу я пошлю командира роты Гусева. Хотя, конечно...

Командир батальона не договорил, но Широков догадался, что капитан не возлагает никаких надежд на Гусева. Или мину найдёт он, Широков, или мельница взлетит на воздух...

«Вместе с Гусевым»,— подумал Широков, припоминая, что у Гусева удивительно хорошие, ясные глаза. Он прилёг («всего на минутку, на одну минутку!») и снова услышал стук часов: тикали под подушкой. Он пошарил рукой, ничего не нашёл и закрыл глаза, но мысль о Гусеве отгоняла сон, и часы продолжали стучать под подушкой.

«Уж не схожу ли я с ума?»— подумал Широков, чувствуя вместе с тем, что сон окончательно покинул его. Он старался думать о семье, о Борьке и жене, которая в этот час тоже, вероятно, думала о нём, а часы всё стучали и стучали, возвращая мысль инженера к Гусеву: нечестно вот так лежать, обрекая человека на гибель. Он хотел встать и не мог,— тело не подчинялось ему, и он остался лежать, изнемогая от навязчивого ритмического стука часов.

Ему припомнилось, как в детстве он вот так же мучительно отыскивал причину навязчивого звука, похожего на тиканье часов. Мать привезла стол, доставшийся ей от бабушки, и поставила возле его кровати. Стол был ветхий, шатался, но мать очень дорожила им — за этим столом она училась писать. Широков тоже положил на него свои учебники и

сел решать задачи. И вдруг в тишине он услышал тихий стук карманных часов. Иногда он замирал, но потом снова возникал в вечерней тишине. Широков долго искал эти «часы», но так и не нашёл. Утром он рассказал об этом матери, и она расхохоталась,— это же червь-древоточец стучит. Он совсем источил стол.

«Может быть, и сейчас червь точит мебель?» Но в комнате не было никакой мебели. Широков лежал на охапке сена, покрытой плащ-палаткой.

Неожиданно взрыв сотряс его тело. Камни со свистом, с воем взметнулись вокруг... Широков пронулся и услышал тарахтенье грузовика,— он ревел и стрелял под окном, как миномётная батарея. Обозлённый Широков высунулся в окно:

— Какого дьявола вы тут поставили машину? Места другого нет?

Рассветало. Вдали белым пятном проступала мельница. Широков вскочил на ноги и почти бегом направился к мельнице. Где-то далеко ворчали пушки.

Короткий, тяжёлый сон не освежил Широкова, но он шагал быстро, подгоняемый нарастающей злобой. Мельница стояла среди задымленных развалин розовая в лучах восходящего солнца,— она существовала, и в стенах её стучали часы взрывателя мины. Гусев встретил Широкова обалделым взглядом, беспомощно развёл руками. «Идите отдыхать»,— кинул ему Широков и прошёл в глубину мельницы.

...В полдень командир батальона, обеспокоенный долгим отсутствием инженера, отправил к мельнице лейтенанта. Осторожно ступая, глядя под ноги тот прошёл в машинное отделение.

— Товарищ инженер-капитан!— позвал он, но никто не отозвался; за стеной слышалось приглушённо всхрапывание.

Лейтенант пошёл на этот звук и увидел инженера: он сидел на полу, прислонившись к стене, и спа-

уронив голову на грудь. Рядом в стене чернело отверстие, на полу лежал механизм часов, от него тянулась проволочка, и конец её был зажат в руке Широкова. Проволочка вздрагивала, казалось, по ней струился напористый ток жизни, пульсировавшей у запястья крупной, покрытой известковой пылью руки инженера.

Д О Б Р О И З Л О

В землянку командира полка вошёл широкогрудый человек с чёрной повязкой на правом глазу, в выцветшей гимнастёрке без погон и, приложив руку к виску, сказал:

— Товарищ майор! Бывший красноармеец вашего полка Тусун Кузумбаев явился по своему желанию... Поговорить хочу с вами, товарищ майор, насчёт моей жизни.

— Садитесь, товарищ Кузумбаев. Рассказывайте,— не без удивления разглядывая обветренное лицо человека, проговорил майор.

Пришедший уселся на табурет, снял побелевшую от солнца пилотку, вытер ладонью крутой лоб. Красное, обожжённое ветром и солнцем лицо его с выдавшимися скулами блестело, как отлитое из меди.

— Вы не знаете Тусуна Кузумбаева,— с оттенком гордости начал он, прижимая пилотку к груди,— у нас тогда был другой командир полка, и он знал, кто такой Тусун Кузумбаев...

— Нет, я знаю Тусуна Кузумбаева,— перебил его майор, улыбаясь.— Он убил двенадцать немцев в штыковом бою, под Москвой, в тысяча девятьсот сорок первом году...

— Ага!— удивился Кузумбаев, он не ожидал этих слов и смолк, а его единственный глаз налился вла-

гой.— Да, я убил двенадцать немцев, потерял глаз, мне пришлось уехать домой... Дома была жена, дети... У нас богатый колхоз. Встретили меня хорошо. Председатель колхоза Абалда зарезал барашка. Абалда спросил: «Ты опять будешь у нас пастухом, Тусун?» До войны я был пастухом. Пастух в нашем колхозе — важный человек, большая должность, товарищ майор... И моё стадо было самое лучшее. Я был первый человек в колхозе. Мне перед войной выдали в награду двадцать пять барашков... И я опять погнал своё стадо в степь. Потом Абалда собрал собрание и сказал: «Тусун — плохой пастух. У него пропадают ягнята, и не все овцы дали приплод. Его надо снять с важной должности». Тогда Бимирбек, самый старый и самый мудрый человек в нашем колхозе, сказал: «Подождём снимать. Я подумаю, узнаю, в чём тут причина». Бимирбек пришёл ко мне в степь. Он сидел и смотрел, а глаза у него, как у беркута, всё видят, даже маленькую мышь видят, когда она высунет свой нос из норки.

Опять собрали собрание. Бимирбек сказал людям: — Человеку дано два глаза. Одним глазом он видит добро, другим видит зло. Тусун Кузумбаев имеет один глаз. Немцы выбили ему глаз, который видел добро. Теперь Тусун видит только зло. Он смотрит на овец, а видит детей, лишившихся матерей и отцов. Он смотрит на степь, а видит города и сёла, сожжённые врагом. Он смотрит на молоко, а видит кровь. Он видит собаку, а думает, что это — немец. Тусун не спит ночами, а всё командует, кричит «ура», зовёт какого-то Ивана и кричит, чтобы Иван стрелял, потому что немцы уже близко...

Меня сняли с важной должности и дали совсем плохую должность — сторожить по ночам амбар с колхозным добром. Бимирбек сказал: «Тусун видит только зло, и он не подпустит к нашему амбару злого человека». Мне дали ружьё. Но мой глаз видел

только зло, и я кричал на всех, кто бы ни подходил к амбару, и чуть не застрелил председателя Абалда... Тогда меня опять сняли и дали в руки лопату, чтобы я копал землю под яблони. Я копал ямы под яблони, потом пришёл агроном, посмотрел и сказал: «Ты, Кузумбаев, вырыл не ямки для яблонь, а окоп в полный профиль». И я увидел, что ямки очень глубокие, туда можно спрятать целый взвод, и он будет жив, когда налетят «Юнкеры»... Тогда Бимирбек сказал: «Тусун Кузумбаев, ты всё воюешь. Твой глаз видит только войну».

Наш Бимирбек очень мудрый. Я долго думал и потом сказал: «Абалда, собери собрание. Я хочу сказать людям умное слово». Собрали собрание, и я сказал: «Наши товарищи сражаются на фронте, соберём им подарки: барашков, масла, того-сего...» И собрание постановило собрать барашков и много-много масла. Тогда я сказал: «Надо выбрать людей, которые отвезут наши подарки на фронт». Выбрали людей, а меня не выбрали. Тогда я сказал: «Я хочу тоже ехать на фронт, чтобы увидеть Ивана Капустина — моего друга». И меня выбрали...

И вот я приехал в свою дивизию, привёз барашков, масла и того-сего... И я пришёл к вам, товарищ майор, в свой полк, где я потерял глаз, видевший добро... Бимирбек очень мудрый старик. Он хорошо сказал: мой глаз видит только войну. Я пришёл к своему другу Ивану Капустину в окоп, посмотрел в щель и увидел немца. Я сказал: «Иван, дай мне винтовку». Иван дал мне свою винтовку, и я убил немца...

Тусун Кузумбаев помолчал, выжидательно глядя на майора. Глаз его снова подёрнулся влагой, он протёр его пальцами и, встав, вытянувшись по-строевому, громко сказал:

— Товарищ майор! Я не поеду домой!

— Если бы вы, Тусун Кузумбаев, имели оба

глаза, то и тогда видели бы только войну, — задумчиво проговорил командир полка. — Глаза человека видят лишь то, что показывает ему сердце.

— О! — радостно воскликнул Кузумбаев, и глаз его весело сверкнул, как камень-самоцвет, озарённый солнцем. — Товарищ майор! Вы мудрый, как наш Бимирбек. Вы ещё мудрее его!

Командир полка пожал руку Кузумбаеву и кликнул адъютанта:

— Распорядитесь, чтобы Тусуну Кузумбаеву выдали снайперскую винтовку.

НА ПЕПЕЛИЩЕ

Фотограф районной газеты Шумаркин, долговязый молодой человек с большими скорбными глазами, пришёл в деревню Дерябино, чтобы сфотографировать жителей, уцелевших от немецкого нашествия. Всё население деревни уселось на еловом бревне: старик Прохор Дроздов, его внук Павлик и Дарья Никитична с дочуркой Машей.

Прохор сидел напряжённо, широко расставив колени и положив на них тёмные, жилистые руки. Ветер шевелил его редкие пепельные волосы и серую бороду. Кожа на худощавом строгом лице его была того желтовато-серого цвета, какой остаётся после долгой и тяжкой болезни. Под рубашкой, угловато висевшей на его острых плечах, угадывалось исхудавшее тело.

— Вот до чего дожили, брат, — сказал он с горькой усмешкой. — Вся деревня на еловом бревне уместилась. А помнишь, как ты сымал нас? Мы тогда в миллиончики вышли. Шестьсот сорок душ было в колхозе. Тридцать велосипедов... Восемьдесят доённых коров на ферме, — Прохор махнул рукой и умолк.

Недавно прошёл дождь. В сыром тёплом воздухе стоял запах горелого кирпича и полыни, заросли которой густо покрывали пепелище. Покачивались лиловые цветы иван-чая, любителя пожараиц, и горели в тёмной зелени ланцетовидных листьев, как свечи, скрашивая угрюмый кладбищенский пейзаж. Всюду торчали обугленные стволы яблонь, и лишь одна из них, чудом уцелевшая от огня, шелестела свежей листвой, и кое-где на ветвях висели мелкие яблоки. Возле этого живого дерева белел новый сруб из неровно пригнанных брёвен, с крохотным, прорезанным для окна отверстием,— такой игрушечный по размерам своим, что напоминал больше сруб для колодца, чем будущее жильё.

— Третий месяц строим себе хижину. Спасибо, брёвна подвезли из лесу товарищи, на машине тут проезжали, а то нам бы не осилить. Плотники вон у меня какие, маломощные,— продолжал Прохор, нетерпеливо поглядывая на Шумаркина, который возился с аппаратом, неожиданно закапризничавшим в последнюю минуту.— Верхний венец никак не вздуюжим поднять...

— Вздуюжим,— важно проговорил Павлик.

У него живые, тёмные глаза, большой лоб и крупный рот, и в глазах выражение упрямства. «Молодой Прохор,— подумал Шумаркин, взглянув на мальчика.— Последний из миллионщиков». И он вспомнил весёлый летний день, яркие девичьи платья, просторные, светлые избы, украшенные затейливой резьбой по карнизам, шумный пир под яблонями, и несвязные песни, и крики, и смех... Дерябинские миллионеры пригласили Шумаркина, чтобы он увековечил их довольство и счастье, а у него нехватило плёнки на всех, и он щёлкал пустым «фэдом» и громко хохотал вместе со всеми, потому что выпил больше, чем полагалось представителю районной газеты...

— И за что мучаемся? За что нам такое на-

казание?— тоскливо заговорила Дарья, устремив в пространство блёклые глаза.— Видно, за гордыню нащу,— тихо ответила она себе.— Всякого добра у нас хватало, нет — давай больше. Прохор вон рояль перед войной купил...

— Ну и купил,— перебил её старик, сердито хмурия брови.— Причём тут... гордыня? Я за свои деньги купил для Нюры.

— А Нюра теперь в Германии на немца работает. И Настенька... доченька моя милая... там... Господи, за грехи наши страдаем!— вдруг вскрикнула Дарья и, закрыв лицо руками, стала раскачиваться из стороны в сторону.

— Мамка, не надо... Мамка,— испуганно сказала Маша, прижимаясь к матери.

Она знала, что когда речь заходит о Настеньке, то мать целыми часами потом раскачивается вот так, теряет разум, кричит и рвёт на себе волосы.

— Пустое ты говоришь, Дарья. Кские за тобой грехи! Может, то грех, что ты теляток выпаивала для выставки? И за мной нету греха,— убеждённо сказал Прохор.— Чисты мы перед людьми и богом, и дела все наши непорочные... Ни в чём нету нашей вины. А страдаем мы не за грехи, а за праведное дело. За праведное,— торжественно повторил он.— Рассказывала мне Нюра про одного человека... Давно было то дело, и, как звать его, запоматовав, врать не стану. Только был тот человек ко всем людям жалостлив сердцем и всё думал, как бы лучше житьё устроить для народа... А жили мужики худо, голодно, сырьём всё ели. Скотинку зарежут, сырого мяса поедят, в шкуры невыделанные завернутся да в пещерах и сидят, а кругом потёмки... Вовсе плохая была жизнь. Ни помыться в бане, ни чаю горячего похлепать, а тут стужа, ребятёнки плачут, старики коченеют... И прослышал тот человек жалостливый к людям, будто на высокой

горе огонь горит. Да... Горит огонь, а достать его никак невозможно, потому нечистый дух возле костра сидит и никого близко не подпускает. Известно, нечистому-то удовольствие, если народ мучается...

Прохор рассказывал неторопливо. Маша не сводила с него своих васильковых глаз. Дарья всё раскачивалась, как маятник. Шумаркин исправил аппарат, но снимать нельзя было, пока не успокоится Дарья.

— Думал-думал тот человек жалостливый к людям да и махнул на ту высокую гору,— продолжал Прохор.— Залез в кустик и ждёт: не может, мол, того быть, чтоб нечистый не отвернулся по своему домашнему делу. Ночь просидел, другую, третью и, скажи, пересидел нечистого: заклолило того в сон. Задремал нечистый... Ну, тут живым делом запалили человек от костра лучинку да поскорей вниз, с горы, к мужикам... Возрадовались тут люди, костры развели, обогрелись. Первым делом, конечно, щей наварили, мяса нажарили, картошек напекли. Поели. Потом горячей водой помылись, шкуры звериные поскидали,— жарко стало. А как, стало быть, помылись в бане, грязь с них сошла, и увидали люди, что все красивы на лицо и прекрасны... А нечистый спохватился, глядь — мужики огонь украли! Давай тут допрос чинить, кто такой смелый нашёлся, чтоб огонь у нечистого выкрасть? Ну, конечно, нашёлся какой-то из нашего брата слабодушный, доказал... А нечистый схватил того храброго человека с жалостливым сердцем, связал его да на цепь и приковал к той высокой горе...

— Это же Прометей,— снисходительно улыбаясь, сказал Шумаркин, вспомнив этот древний миф о герое.— Это был сын титана Иапета.

— Вот, стало быть, и ты знаешь,— обрадовался Прохор, словно речь шла об общем знакомом.— Да... Приковал он его к высокой горе на цепь, а тут

коршуны летают, вороны и давай его терзать, все глаза повывклевали, всё тело изранили... А он ничего, терпит. Удивился тут нечистый, спрашивает: «Ты чего не кричишь? Небось, больно?» А он отвечает: «Больно. А не кричу, потому, что страдаю за праведное дело...»

Прохор помолчал, глядя на бесконечный пустырь. Грузное, синеватое облако наплывало с востока, закрывая солнце, и тень его покрыла землю,— всё окрасилось в тусклый угрюмый цвет, и лишь свечки иван-чая продолжали гореть радостным лиловым огнём.

— Слышать, и по сих пор мучается он за праведное дело, а молчит,— продолжал задумчиво Прохор.— Так вот и мы, дерябинцы, и Дарья, и ребя-тёнки малые, беспорочные, и все кругом — мучаемся. А за что? За то мучаемся, что секрет праведной жизни открыли, а это нечистому не нравится.. Вот нечистый этот дух, Гитлер, и пошёл с войной против нас, чтоб на цепь приковать, боится, как бы и его люди от нас не научились праведной жизни.. И Ниору и Настеньку увёл к себе, на цепь посадил и всех наших дерябинских посничтожил. Председателя нашего Ивана Петровича помнишь, чай? Такого человека, может, на всей земле теперь нет. Он нас в миллионщики вывел, жителями сделал. А немцы его повесили да две недели сымать не давали... Вороны ему глаза повывклевали.

Капли дождя защёлкали по широким листьям лопуха. Прохор озабоченно взглянул на постройку, встал.

— Дарьюшка,— ласково сказал он, притронувшись рукой к плечу женщины.— Очнись, родимая... Никак, дождь опять. Поспешать надо, а то мы и к зиме с избой не управимся.

Женщина откинула руки с лица, недоумённо оглянулась, точно впервые увидела чёрные яблони, груди

щепня, поросшие жирной полынью, худенькую девочку с васильковыми глазами. Она медленно, с трудом возвращалась в действительный мир из сумерек забытья.

Облако поползло дальше, и снова открылось солнце. Затуманенные глаза женщины остановились на яблоне. Сквозь шелест листы слышался тихий, успокоительный звон, казалось, звенели зелёные бубенчики плодов, но звук этот издавала пила-одноручка, по полотну которой со звоном ударялись капли дождя. Женщина поднялась с бревна. За яблоней она увидела грядки огорода, острые стрелы лука, лохматые, сизые листья капусты. И там звенело,— пели кузнечики, радуясь солнцу. И весь маленький клочок земли, на котором люди сызнова утверждались для жизни, засверкал, озарённый солнцем: празднично светились белые брёвна сруба, увешанные золотыми сережками смолы; ярко пылали свечи иван-чая; искрились капли дождя на полыни; блестели, словно смазанные маслом, жирные листья лопуха. С огорода ветер донёс запах укропа. Земля звала к себе женщину и этим запахом, и нежным звоном, и красками цветов,— всем дыханием своим притягивала к себе и звала к жизни. И женщина, вздрогнув и посветлев лицом, пошла на этот зов, твёрдо ступая босыми ногами по тёплой и ласковой земле.

Павлик поднял с земли топор, Маша понесла пилу-одноручку. Пила захватывала головки цветов и со звоном срезала их.

Прохор с женщиной приподняли конец тяжёлого бревна. Шумаркин подбежал на помощь. Прохор пригнулся, поставил плечо и, крикнув, принял на себя бревно. Оно наискось, покачиваясь, легло на плечо старика. Толчками руки старик успокоил его, уравновесил и пошёл, выбросив в сторону правую руку, как бы опираясь на невидимый посох. Лицо его налилось кровью, на шее вздулись толстые жилы.

«Вот он — сын титана Иапета», — подумал Шумаркин и, припав на колени, прицелился фотоаппаратом, стараясь поймать в объектив фигуру старика, резко очерченную на белом фоне сруба.

НА ТОТ БЕРЕГ

Много дней капитан Казанцев пробивался со своим батальоном сквозь густые леса и вражеские заграждения, шаг за шагом приближаясь к родному городу. Батальон шёл в авангарде дивизии, прокладывая ей путь через болота и реки, через лесные завалы и минные поля.

Нелёгкий это был путь, но капитан Казанцев безостановочно двигался вперёд. Чем скорее он войдёт в родной город, тем больше надежды увидеть близких, родных людей. С радостным нетерпением и тревогой вглядывался он в горизонт, затянутый сизым дымом, и всё думал о Наташе и маленькой Веруське, думал о них, отдавая приказания командирам рот, думал, механически разжёвывая сухарь на ходу, покачиваясь от усталости, думал даже в коротком сонном забытье.

Они были совсем близко. Ночью Казанцев перешёл речонку Снежку, куда приходил он с Наташей и Веруськой в праздник, чтобы посидеть на песчаном берегу. Речонка была мелкая, а вода в ней светлая, быстрая, и хорошо было слушать её неугомонное журчанье, похожее на детский лепет... И теперь, переходя речку вброд, Казанцев с волнением вслушивался в журчанье тёмной воды, бурлившей под ногами. Снежка раздулась от непрерывных дождей, пришлось войти в воду по горло, и, хотя была осень, Казанцев не почувствовал ледяного ожога, — тело давно привыкло подавлять боль, ощущение холода, голода.

Но ничем нельзя было унять боль души. Ни на минуту не утихала она в течение двух лет мучительной разлуки с любимыми людьми.

Они были совсем близко... Пройти пойму Десны, чуть левей железнодорожной насыпи, а дальше — река, а за ней, на взгорьи, круто поднимается, как лестница на крышу, знакомая улица с кирпичными ступенями тротуара, а на самой вершине откоса — маленький домик с тремя окнами, обращёнными к раздолью широкой поймы. Было темно, но капитан Казанцев видел свой дом и, протянув в темноте руку, показывал его адъютанту.

— Вот там, где вспышки орудия, зелёная крыша и рядом тополь... высокий, старый тополь, и весной, когда распускаются почки, кругом стоит такой запах, что с ума сойти можно... А в июне с этого тополя падает белый пух, и тогда этот пух везде — и в волосах, и на полу, и в стакане чая... А Веруська кричит: «Снег! Снег!»

Адъютант не видел ни дома, ни тополя, ни зелёной железной крыши. Он слышал хриловатый, всегда жёсткий голос капитана, зазвучавший вдруг нежно и ласково.

— Товарищ лейтенант, проверьте готовность людей к атаке, — вдруг снова обычным строгим тоном проговорил капитан, словно устыдившись прорвавшихся из сердца слов. — И как там... нащупали броды?

Адъютант побежал в роты, затерянные в пред-рассветной мгле. Это был удивительно быстроногий и говорливый человек: он успел побывать всюду, всё разглядеть и всем рассказать о домике под зелёной крышей, о тополе и маленькой Веруське, и бойцы, прижавшись к холодной земле в ожидании атаки, увидели домик особым зрением своего сердца: у одного домик был накрыт соломой, у другого — оранжевой черепицей, у третьего тоже — железом, у четвертого возле домика — не тополь, а кривая берёза,

у пятого была не Веруська, а Нинка, а у шестого не было ни дома, ни дерева, ни ребёнка: он уже прошёл через свою деревню, как по чистому полю, но и этот, шестой, увидел сейчас дом свой с двух окнах, обращённых в поле...

Над рекой вспыхивали ракеты, и Казанцев увидел, что Десна от дождей раздвинулась, подступила к самому базару,— значит, никаких бродов нет. Это подтвердил и человек, которого адъютант привёл с собой; в темноте не было видно его лица, а голос шёл откуда-то снизу, и капитан понял, что человек мал ростом.

— Разгулялась река вон как... Кабы лодки. И лодка у меня была, да и ту немцы уволокли на тот берег... И как теперь в город попасть, не придумаю... Ах, ты, беда!

И пока он охал и сетовал, Казанцев припомнил, что маленький человечек этот жил в светлой, аккуратной избушке на этом берегу и всегда продавал на базаре рыбу; припомнилось даже, что у этого рыбака на щеке бородавка, поросшая чёрными волосками.

— А изба твоя цела?— спросил капитан, думая о том, что до артиллерийской подготовки осталось не больше часа.

— Цела, родной... Уж какие страсти тут были, а устояла... А тут и вы подоспели. Теперь я житель!— весело сказал человек.— Изба — главное дело, товарищ...

— Это верно, без крова трудно жить человеку, а они, дьяволы, дома вон жгут,— со злобой и тоской проговорил Казанцев, глядя на зарево, осветившее небо.— А застрянем на этом берегу, они и последние домишки спалят...

— Как же теперь быть-то?— озабоченно размышлял вслух человек.— Место кругом голое. Одна моя изба осталась...

Голос его испуганно дрогнул и оборвался.

А напугала мысль, что переправиться на тот берег можно лишь единственным способом,— разобрав избу на брёвна. Но ему было жаль домика, и человек молчал, потому что трудно выговорить слова о своей жалости людям, которые пришли, чтобы спасти его, жену его и детишек, и тех, кто на том берегу. Как тут сказать: «Нет, братцы, жалко. Не дам»? Сказать это людям, которые не пожалели для него своей жизни, своих домов и детей, покинули всё, что дорого человеку? И он молчал, а дышал неровно и шумно, словно поднимал непосильную тяжесть, и вдруг будто рывком, через силу вскинув её себе на плечи, облегчённо сказал:

— Разбирайте мою избу.

— Как твоя фамилия?— спросил Казанцев.

— Вахромеев Денис.

— Спасибо, товарищ Вахромеев!

И когда весело, как вешний гром, раздался слитный удар множества пушек, батальон капитана Казанцева поплыл через Десну на избе Дениса Вахромеева, а он стоял на берегу и кричал бойцам, уцепившимся за брёвна:

— Брёвна-то... брёвна на берег вытащите! Не унесло бы!

И хотя кругом творился суций ад — рвались снаряды, над рекой вставали водяные столбы, вода кипела, захлёстывала плывущих,— они гребли одной рукой, а другой обнимали бревно, болтали ногами, барахтались, но плыли, выплёвывая набравшуюся в рот воду, взмахивая окоченевшей рукой... Казанцев плыл, придерживаясь рукою за бревно, и адъютант, фыркая, мотая головой, что-то бормотал рядом,— он умел быстро бегать, но плавал плохо, а скользкое бревно вертелось, норовило вырваться, ныряло и несло куда-то в кипящей воде.

Но уже закричали простуженными голосами «ура»

те, кто выбрался на правый берег, и возле фанерных киосков базара застучал, «максим», каким-то чудом переплывший реку. «Ура» становилось всё громче, гуще, откатываясь от реки к улице, идущей на взгорье, и, будто поднимаясь по каменным ступеням тротуаров, звучало всё выше и выше, захватывая вершину горы. Туда спешил капитан Казанцев — к домику с тремя окнами, обращёнными к Десне.

С одежды его струилась вода, чавкала в сапогах, капала с подбородка и ещё стояла в ушах. Он почти вбежал на гору. Тополь простирал над зелёной крышей свои узловатые ветви. Сорванная с петель дверь валялась на земле, окна были раскрыты, и Казанцев остановился, не в силах переступить через порог.

«Да ведь они же где-нибудь в подвале», — подумал он и вошёл в дом.

В пустых комнатах осенний ветер гонял обрывки бумаги, и жёлтые сухие листья тополя с шуршанием переползали из угла в угол... Казанцев вышел и опустился на ступени крыльца, чтобы не упасть.

Так он сидел в оцепенении, потрясённый одной мыслью: «Их нет...»

Чья-то рука тронула его за плечо, он вздрогнул и узнал соседку Марью Петровну. Она жалостливо смотрела на него, вытирая слёзы.

— Голубчик ты мой, Иван Алексеевич! Неделькой бы пораньше, и застал бы Наташеньку... Угнали, ироды! Всех угнали... Взяла она Верочку за ручку и пошла... Может, где и недалеко, да разве найдёшь теперь? Насквозь мокрый ты. Снимай-ка гимнастёрку, я высушу... Печь растоплю, самоварчик согрею...

Озноб сотрясал всё тело Казанцева, и ничем нельзя было согреть его — ни пламенем, ни кипятком, — озноб шёл откуда-то изнутри. Казанцев быстро поднялся с крыльца и пошёл, всё ускоряя шаги, — теперь

ему хотелось быть вдали от того, что напоминало о любимых, потерянных людях.

Бой шёл уже за городом, и связной от штаба полка принёс приказание: преследовать противника, не давая ему опомниться. Казанцев повёл батальон дальше.

— А как же дом-то? Семья?— спросил адъютант, выжимая на ходу гимнастёрку.

— Там... Всё там... впереди,— глухо проговорил капитан, шагая всё быстрее и быстрее.

Ему казалось, что если идти вот так — не отдыхая, не теряя времени, то можно ещё догнать Наташу с Веруськой. Ведь если бы он шёл побыстрее, то застал бы их в городе, но он припоздал, и только он виноват в том, что их угнали.

«Догнать!.. Догнать!» — неотвязно стояло в мозгу. Казанцев выбрасывал вперёд и по сторонам группы бойцов, чтобы заходить в тыл врага и отсекал ему пути отхода. Через два дня отбили у немцев много жителей, которых враги угоняли с собой.

Казанцев взволнованно вглядывался в каждую женскую фигуру, в каждого ребёнка, расспрашивал, указывал приметы, но никто ничего не мог сказать ему, потому что из города их выгнали немцы только три дня назад, а Наташу с Веруськой — раньше на четыре дня.

Но то, что удалось отбить у врага жителей, снова возвратило Казанцеву надежду — от Наташи и Веруськи его отделяли теперь только четыре дня. Казанцев шёл со своим батальоном, выбивая немцев со всех рубежей и укреплений, не останавливаясь ни на один час, захватывая пленных, отбивая толпы жителей, угоняемых на каторгу. Но среди них не было ни дочери, ни жены. Осколком мины ранило Казанцева в руку. Он хотел остаться, но кровь не унималась, и командир полка приказал отвезти его в госпиталь. Осколок вынули, крепко забинтовали

руку, уложили Казанцева в постель и предписали полный покой. Казанцев всю ночь не мог уснуть, ворочался, курил и думал всё об одном...

Утром дежурная сестра доложила начальнику госпиталя, что капитан Казанцев исчез. Пока в госпитале писали об этом рапорт начальству, Казанцев уже догнал свой батальон на грузовнике, подвозившем патроны.

— Жителей отбивали? — спросил он.

— Отбивали, — ответил адъютант, — но я всех спрашивал... Нет ваших, товарищ капитан. Но говорят, что впереди много должно быть городских жителей...

Адъютанту никто не говорил этого, но ему было жалко Казанцева, и он решил приврать, чтобы дать человеку надежду, потому что без надежды трудно жить на войне. Казанцев поверил, потому что ему нужно было верить в то, что Наташа и Веруська впереди, на линии движения батальона.

С этой верой он переплыл Днепр со своим батальоном, но и там не нашёл их. Он продолжал освобождать угоняемых немцами, но среди них не было ни одного жителя Брянска, и батальон ушёл вперёд так далеко, что трудно было даже предположить, чтобы кто-нибудь из жителей города дошёл до этих мест, а могло быть и так, что их повернули в другую сторону.

Дивизию перебрасывали с одного участка фронта на другой, и Казанцев очутился совсем в стороне от линии на запад, — он шёл теперь прямо на юг, и, хотя не переставал думать о Наташе и дочери, надежда на встречу с ними всё больше и больше таяла. А когда бойцы его батальона, прорвавшись через Перекоп, вступили на крымскую землю, и Казанцев однажды утром увидел голубую даль моря, слёзы заволокли его глаза, потому что дальше пока идти было некуда.

Заняли Евпаторию. Казанцев пришёл к морю и устало опустился на камень. С тихим плеском накатывались волны, шурша по песку, и в этих звуках была неугасимая печаль. Но Казанцев уже спокойней думал о том, что на великом пути до моря он сделал всё, что было в его силах, что множество людей, которых он освободил от каторги,— пусть незнакомых ему,— в этот час вспоминают капитана Казанцева и его батальон, что таков закон жизни: подобно Вахромееву, кто-то должен пожертвовать своим домом, чтобы на брёвнах его люди могли перебраться на берег своего счастья.

И, вспомнив, как предусмотрительный Вахромеев кричал бойцам, чтобы они вытащили его брёвна на берег,— он хотел снова собрать свой дом,— Казанцев невольно улыбнулся.

— Соберём... Всю нашу жизнь по брёвнышку соберём, товарищ Вахромеев,— прошептал он, глядя на лазурный свод неба, что выгнулся над морем, как крыша гигантского дома.

СОДЕРЖАНИЕ

Женщина	3
Последняя просьба	9
Фетис Зябликов	15
Гнедая лошадь	23
Искра	30
Огонь	38
Заяц	43
Победа	50
И один в поле воин	56
Находка	64
Счастье	72
Первый день	86
Бабье лето	103
Второе дыхание	109
Волк	117
Условие существования	125
Добро и зло	133
На пепелище	136
На тот берег	142

Редактор В. л. Бахметьев.
Художник И. Николаевцев
Технический редактор С. Симонов

А-13110

Сдано в набор 26/1—45 г. Подписано
к печати 12/VI—1945 г. Печ. л. $4\frac{3}{4}$
Авт. л. 6,27. Уч. изд. л. 6,51
Тираж 30000. Заказ 226
формат. бумаги 70×92 $\frac{1}{32}$.
Цена 5 р., в перепл. 7 р.

6-я тип. треста „Полиграфкнига“
ОГИЗ при СНК РСФСР.
Москва, 1-й Самотечный, 17.

W

5 руб.

60

77

3